Ооли
Хроники повседневности

Книга первая
Перевозчик

Микаэль Осворт

Микаэль Осворт

Ооли. Хроники повседневности. Книга первая. Перевозчик

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Осворт М.

Ооли. Хроники повседневности. Книга первая. Перевозчик / М. Осворт — «ЛитРес: Самиздат», 2015

ISBN 978-5-5321-2527-8

Неспешное странствие в поисках смысла и красоты. Радость открытия подлинного себя. Поиск призвания и пути, собственного ответа на вечные вопросы. Жажда цельности, равновесия, согласия чувств и разума. Жизнь, как беседа с судьбой. Путешествие по неизведанным пространствам мира внутреннего — и погружение в Ооли, мир своеобразный и самобытный.Философский роман-лабиринт, рожденный в слиянии фэнтези и магического реализма. Многослойное повествование, обращенное к вдумчивому читателю.

ISBN 978-5-5321-2527-8

© Осворт М., 2015
© ЛитРес: Самиздат, 2015

ООЛИ

Хроники повседневности

Книга первая

ПЕРЕВОЗЧИК

Предисловие

Неспешное странствие в поисках смысла и красоты. Радость открытия подлинного себя. Постижение своего призвания и пути. Поиск собственного ответа на вечные вопросы. Соприкосновение с миром. Погружение в глубину ощущений, переживаний и впечатлений. Понимание верного способа жить, в существующих обстоятельствах и условиях. Постепенное овладение равновесием внутреннего и внешнего. Жажда цельности, поиск созвучия и согласия между чувством и разумом. Жизнь, как беседа с судьбой.

Философский роман-лабиринт, уводящий тропинками размышлений, воспоминаний, отголосков былого, переплетенных с событиями и настроениями настоящего. Уводящий читателя вглубь, чтобы вновь возвратить к исходной точке, оставляя на память опыт странствий и размышлений.

Книга, рожденная в слиянии фэнтези и магического реализма. Книга, написанная для тех, кому подоплека событий представляется более значимой, нежели, собственно, происшествия. Для тех, кто идет по жизни своим путем – или только мечтает его обрести. Повествование метафизическое, слой за слоем приоткрывающее смыслы, порою весьма неожиданные. Чтение, увлекающее в путешествие, прежде всего, по неизведанным пространствам мира внутреннего – в котором и происходит большая часть приключений героя, глубине и объемности восприятия отдающего предпочтение перед скоропалительным действием, а влияние на судьбу прочтенных вовремя книг полагающего не менее значимым, чем воздействие жизненных обстоятельств.

Книга, возможно, окажется созвучной тому, кто уже не способен забыть «Приключений Робинзона Крузо», тревог и опасностей «Острова сокровищ», мрачноватого очарования «Имени Розы», горького понимания, что – и в самом деле – «Трудно быть богом». Читатель услышит здесь смутные отзвуки «Степного волка», уловит намеки «Игры в бисер». Обнаружит себя потерявшимся в лабиринте, перекликающемся с вымыслами и хитросплетениями Борхесовых рассказов. Временами окажется погружен в тягучую, плотную пестроту бытия, напоминающую «Сто лет одиночества». Многочисленные подробности и отсылки воскресят перед мысленным взором страницы «Хазарского словаря». Неспешность повествования, подобная ходу большого судна в бескрайнем море, окажется в чем-то сходной с поэтикой Бродского, а внимание к ускользающей красоте повседневности, как и тяга к раскрытию полноты человеческой жизни, напомнят о «Старике и море», о «Празднике, который всегда с тобой». Смыслы – странные и высокие, вплетенные в ткань обыденности, неразрывно с ней связанные, но решительно ей внеположные – прозвучат отголосками «Желтой стрелы», «Чапаева и Пустоты». Тяга героя к поискам истины, страстное побуждение следовать в жизни собственному пути, не взирая ни на людское мнение, ни на житейские затруднения, приведут на память «Алхимика», «Чайку Джонатана Ливингстона». Магия, которая в мире Ооли – как и всяком ином

– ведома только немногочисленным посвященным, опирается на представления, в чем-то схожие с «Учением дона Хуана», а размышления и внезапные озарения, придающие книге своеобразие и значение, покоятся на основании вечной мудрости – в том мире, где посчастливилось воплотиться автору и большинству вероятных его читателей, в предельной своей глубине проявленной как веданта, дао, дзен.

Герой – не лишенный собственного надлома, неизбывной в своих отношениях с миром сложности, даже и затаенной горечи – не вынашивает, однако, коварных замыслов порабощения или уничтожения мира. Не мыслит себя и спасителем, призванным нести свет заблудшим; не претендует на обладание истиной, ответом на все вопросы. Окружающий мир ему представляется, в основном, чужеродным, погрязшим в мелких страстишках, приземленным, вед*о*мым ценностями надуманными, искусственными. Бросаться его перекраивать он не торопится – полагая, что прежде следует разобраться и навести порядок в собственной жизни. Работа ему, как вполне он успел уже убедиться, предстоит изрядная. Такая сосредоточенность на интересе частном, однако, не делает его человеком заурядным, обыкновенным – напротив, он остро ощущает внутреннее свое отличие от окружающих, отчетливо понимает, что жизненный путь большинства людей ему не подходит, а значит – необходимо искать собственный.

Поиски смысла и красоты происходят в мире довольно хмуром. Красота присутствует здесь вкраплениями – нужно немало душевных сил, чтобы ее подметить, и еще больше – чтобы, всему вопреки, сохранить в себе эту способность: видеть, чувствовать, понимать.

Островки, сплетенные мостами и галереями. Дома, сросшиеся стенами над водой городских каналов. Величественные старые здания в корявых наростах трущоб. Погода промозглая, вечное межсезонье.

Ооли. Город столичный, пестрый, шумный и многолюдный. Прибежище древней мудрости, оплот высокой мысли, колыбель изящных искусств. Пристанище проходимцев и торгашей, дом родной приземленным, тщеславным, мелочным обывателям. Город, погрязший в немыслимой суете, заглушающей всякий душевный порыв – но вдумчивому искателю готовый оставить лазейку к самому в жизни главному.

Мичи – молодой человек склада своеобразного. Вольнодумец и отщепенец, одиночка, книгочей безнадежный и неисправимый, ценитель наследия древности и любитель маленьких радостей жизни, снаружи – угрюмый и нелюдимый, изнутри – отчаянно жаждущий подлинности и цельности.

Средства на жизнь добывает он незаконным частным извозом – ремеслом доходным, но совершенно чуждым ему по духу. Избегая внимания стражей порядка, стараясь не впутываться в житейские передряги, Мичи надеется сколотить со временем скромное состояние, что позволит ему отойти от дел и предаться изысканным удовольствиям: сочинительству, размышлениям, созерцанию, наслаждению красотой.

Впрочем, Мичи опасается, как бы грубая повседневность не успела оставить в нем слишком глубокий след, пропитать пошлостью и тщетой заурядной обыденности. Сопротивляясь влиянию окружения, пытается он сохранить душевное равновесие, отыскать свой путь и призвание, верный способ устроить жизнь сообразно вкусу и разумению.

Борьба продолжается с переменным успехом, пока случайная встреча с загадочным стариком не переворачивает всей его жизни, принося исполнение затаенных стремлений – и Мичи словно бы вновь оказывается в самом начале пути, готовится к новому странствию.

Глазами героя – взрослеющего, обретающего в мире собственное место, приходящего к зрелости, полноте бытия и творческому расцвету – читатель увидит мир: прекрасный и сложный, узнаваемый и непостижимый, полный возвышенных чувств и низменных проявлений, погрязший в обыденности и скрывающий невероятные тайны. Авторский голос предоставляет возможность взглянуть на происходящее несколько отстраненно, с высоты птичьего полета. Как бы ни дорог был образ героя повествователю, Мичи сегодняшний остается лишь промежуточным звеном, ступенью непростого пути к подлинности и цельности. Книга в целом и представляет собой роман становления. Предполагается, что характер и взгляды героя будут необходимо меняться на протяжении всей эпопеи. Любое текущее положение дел является состоянием переходным, необходимым этапом роста, одной из точек на линии жизненного пути.

Роман «Перевозчик» – первый том восьмикнижия «Ооли. Хроники повседневности» – служит своеобразным прологом истории, в которой судьба героя переплетается с судьбами мира. Так – отражаясь друг в друге – только и могут они быть поняты. Неразрывно связанный с собственным окружением, Мичи – дитя истории, вобравший лучшее из того, что могла предложить не лишенному определенных задатков юноше культура великого Ооли. Не ощущая, однако, подобной связи, Мичи старательно сохраняет обособленность, отстраненность, дорожит независимым образом жизни и строем мысли – что заставляет острую грань между всеобщим и частным порою вспыхивать, ярко высвечивая и внутренние переживания героя, и существующий в мире порядок вещей: обыкновения, нравы и множество пестрых подробностей, исторических и повседневных, что позволяет читателю создать объемное впечатление о мире Ооли, своеобразном и самобытном.

Книга первая

ПЕРЕВОЗЧИК

– И давно? Перевозчиком-то?

«Начинается» – привычно подумал Мичи, оценивая своего пассажира скучающим, нарочито рассеянным взглядом. Определенного впечатления так и не сложилось – ожидать, следовательно, можно было чего угодно. «И уж хорошего ждать не приходится, это точно. Дождешься тут…» Дальнейшее молчание, впрочем, становилось совсем уже неприличным, а потому, мысленно вздохнув, самым бесцветным, на какой был способен, голосом, Мичи буркнул:

– Четверть *меры*.

Четвертый, стало быть, год. Ни много, ни мало. Соответствует действительности. Не вызывает, обыкновенно, у собеседника – на что и надеялся Мичи – навязчивого позыва к продолжению разговора, с этим утомительным выяснением подробностей происхождения и причин к выбору ремесла, планов на будущее, спорами относительно взглядов на жизнь, поиском общих знакомых и неизбежным братанием ближе к концу поездки. Все эти "мы с тобой – капли одного океана", и дружеские, до хруста костей, объятия, и четырехкратные поцелуи, ну и, само

же собой, приглашение на свадьбу любимой сестренки – или какой уж там повод для пьянки у них намечается, в самое ближайшее время…

С годами Мичи научился воспринимать таких пассажиров со стойкостью и достоинством, как зло неизбежное, и не такое уж страшное – как плохую погоду, просто как часть своей, кстати, и без того, довольно-таки неважнецкой работы. В конце концов, это было явно не самое худшее. Все эти разговоры начинаются всегда одинаково – думалось Мичи – а вот заканчиваются, бывает, по-разному. Ох, по-разному… Никогда не знаешь наверняка, что именно может не понравиться в твоем виде, во взгляде, в голосе, в самой манере держаться, а то и даже в способе работать веслом очередному стражнику, под завязку накачавшемуся дешевым пойлом. Или такому же, как и ты, перевозчику, отметившему окончание очередного паршивого дня – и пришедшему от того в состояние полнейшей неспособности отвести к дому собственное корыто. Возможность не получить причитающейся оплаты – а то, ни за что, ни про что, искупаться даже в холодной воде канала – нередко становилась все более отчетливой, по мере продолжения вот так же, совершенно невинно начавшегося разговора. Но и это было не самым худшим. Что действительно беспокоило Мичи, так это мысль о более чем серьезных шансах рано или поздно нарваться на *смотрителя*. В таком случае следующим шагом в разговоре было бы…

– Звать-то как тебя?

Ну, приплыли. Серьезно? Вот именно сегодня, вот так? Мичи не раз пытался представить себе, как это произойдет. До сих пор судьба была к нему благосклонна: от других *такке* ему частенько приходилось выслушивать жутковатые байки о *смотрителях*, но сам он каким-то образом ухитрялся с ними пока еще не столкнуться. Порою – без очевидных причин, повинуясь разве что какому-то шершавому, щекочущему чувству внутри – Мичи уверенно отказывал в перевозке приличного вида господам вполне приятной наружности, однако же понимал, что оставаясь на воде все дольше, так или иначе приближает неизбежное. Но – сегодня?

А ведь день начинался так замечательно! Посреди этой беспросветной, промозглой серости последних дней – неожиданно солнечное, яркое утро, и теплый ветер в распахнутых по такому случаю настежь окнах, ласковый, как *исчадыще*, пропитанный запахами прелой травы, и словно бы льда и меда, и какие-то новые, неопределимые, незнакомые прежде оттенки вкуса в чашке любимой *ойи*… Сжимая в ладонях медленно остывающую чашку, Мичи просидел все утро на широком подоконнике – ощущал босыми ступнями теплые отпечатки солнца на его пористом камне, покуривал любимую свою трубку и размышлял.

Такие дни – думал Мичи, следуя взглядом за узорными колечками дыма, скользящими и растворяющимися в прозрачном, пронизанном светом воздухе – сами по себе могут служить добрым началом, началом чего-то особенного, действительно в жизни нового. Они содержат – он мысленно подбирал точные слова, способные вместить и выразить *сату* – мгновенное, полное, законченное и целостное понимание, только что с ним случившееся и теперь медленно растворявшееся у него внутри, поддаваясь осмыслению исподволь, постепенно – содержат отчетливое, хоть и невысказанное обещание скорой перемены. Обещание волнующее, даже, пожалуй, тревожное – и этот вот самый трепет, само ожидание, предвкушение… Хотя это всего только чувства, но они словно бы представляют собой… Похоже на… Мичи задумался так глубоко, что трубка успела погаснуть. Похоже – на что? Ах, да. Подходящий образ, наконец, отыскался. Предчувствие берега. Пятнышко суши на горизонте, едва лишь мелькнувшее, пусть бы даже и сразу из виду ушедшее… Или, еще вернее – мгновение, когда

нога пловца, наконец, ощущает дно: одна попытка, другая… берег кажется таким близким, почти доплыл, ну же! Нога скользит, проваливается в пустоту – пугающее, неприятное чувство – и остается разве что набрать еще воздуха, еще несколько взмахов – и вот, наконец, да! Там, внизу, под ногами, уже не толща воды, непонятная глубина – дно. Берег. Земля. Пусть еще даже и не получится встать, опереться твердо – но само это чувство, да, вот оно! Обещание, предвосхищение берега. Точный образ, хороший – из тех, что помогают понять, сопоставить, разобраться в своих ощущениях. А утро, и верно, этим предчувствием берега пропитано было насквозь – словно совсем уже скоро должно непременно что-то случиться, произойти. Что-то важное и особенное. Ну… вот, кажется, и случилось – думалось теперь Мичи. Утро, полное неги и предвкушения, теперь казалось бесконечно далеким, словно бы… недействительным? Мичи попытался подобрать точное слово, и усмехнулся, ловя себя на мысли, что сожаление о несбывшемся, похоже, утреннем обещании – смутном, призрачном – даже сейчас беспокоит его куда сильнее, нежели более чем вероятные, вполне ощутимые и серьезные неприятности.

Это «сокровище» – как именовал Мичи, про себя, всяческих непростых пассажиров – он подобрал у моста Кодо Курата, в полной уверенности, что поездка ему предстоит самая, что ни на есть, обыденная. Простая, спокойная – из тех, что делали его занятие более или менее сносным. Жилистый, сухощавый старик в выцветшей накидке помахал ему со сходен, аккуратно устроился на носу, тут же выложил на скамью ровную стопку в пол-*меры* медных монеток, и попросил отвезти его к Рыночному острову, к северному причалу. Ничего особенного. Обычное дело.

К пассажирам вроде этого Мичи относился со сдержанным уважением: поглощенные своими занятиями, обстоятельствами и мыслями люди, которым, по всей видимости, не было до него особого дела. Из одной точки в другую. Всего-то: пройти канал Лайме, вывернуть во второй кольцевой – теперь, в наступающих сумерках, уже не так запруженный лодками – и под мостом Йирха-Парха уйти на Рыночный, к северной оконечности. Вот так – каждый раз бы, а? Прямо с утра, одну за другой, несколько вот таких же ходок – и все. И дня свободна добрая половина, и в кармане уже не пусто – Мичи порой любил потешить себя приятными мыслями, и такого рода подсчеты определенно доставляли ему удовольствие – а то машешь тут, машешь веслами…

Дело же – если Мичи и вправду нарвался-таки на *смотрителя* – принимало оборот достаточно скверный. Монеты успели уютно устроиться в старой, изрядно потертой кожаной его сумке: делать вид, будто подобрал случайного попутчика ради доброй компании, теперь уже поздновато. Сопротивляться аресту было чревато: *смотритель* нипочем не стал бы работать сам по себе, в одиночку. Значит, чей-нибудь пристальный взгляд подметил его лодку еще у моста Кодо, и стража уже дожидается их у северного причала; не приди они вовремя, на воду будет спущена вся проклятая их флотилия. Что и правда им по душе, этим *каспи* – так это охота. Скучновато им, видите ли, в последние-то времена… Мичи еще раз мысленно протянул это свое «*кассссспи*». Прежде чем намертво прилипнуть обидным прозвищем к городским стражникам, слово это служило именованием мелкой, глуповатой и невероятно прожорливой рыбешки – хищной, но едва ли, в силу крохотного размера, опасной. К несчастью, охотиться *каспи* предпочитали, сбиваясь в крупные, плотные стаи – и вот так, беря числом, представляли собой угрозу весьма существенную.

Мичи мысленно перебрал небогатый набор возможностей. Попытки перехитрить *смотрителя* - равно как и подкупить, отвлечь, рассмешить или разжалобить – были, со всей очевидностью, обречены на неудачу. Работу свою они знали, дорожили ею, разве что не гордились

– а потому исключений не делали. Даже и в разговоры, как правило, не вступали – да и что тут скажешь? Незаконный извоз, он и есть незаконный извоз. Наконец, он выдохнул:

– Мичи.
– Мичи-*такке*?

Спокойно глядя в глаза своему пассажиру, Мичи отрицательно покачал головой, прекрасно понимая все, что последует дальше. Сейчас, чтобы избежать случайной ошибки, его вежливо попросят показать руку – внутреннюю часть левого предплечья, где рядом с изящно выписанным его первым именем, временем рождения и свидетельством об окончании общего обучения, над самым запястьем полагалось бы находиться и *ви* – знаку *принятой судьбы*, отражающему, прежде всего, род занятий.

Полагалось бы, вот только запястье Мичи – как, собственно, и сама его дальнейшая судьба, заметил бы он – по сей день оставалось девственно чистым. Затянувшаяся неопределенность, как таковая, не слишком его беспокоила. Даже больше: подобное состояние он находил для себя не лишенным некоторого очарования, видел в нем определенный смысл, а потому вовсе не торопился с окончательным выбором.

Большинство жителей Ооли, не утруждая себя размышлениями о выборе жизненного пути – да и вообще какими бы то ни было, не преминул бы добавить Мичи – судьбу свою попросту наследовали, следуя протоптанной родительскими ногами дорожкой. К достижению полноты первой *меры* – шестнадцати, то есть, годам – едва ли не каждый в Ооли мог уже похвастать *долгим* своим, *взрослым* именем: знаком судьбы, выведенным острой иглой *видо,* мастера-каллиграфа, повыше запястья: несмываемой, основательной печатью сделанного выбора – чаще всего, незамысловатого, предсказуемого, а порой и вовсе случайного.

Определенность несла в себе уверенность и спокойствие. Что бы там ни случилось, как бы ни повернулась жизнь – какой-нибудь *шапта,* рыбак, удосужившись заполучить однажды *ви* рыбацкого братства, оставался уже рыбаком навсегда. Удачливый ли, злополучный, умелый, или же совсем бестолковый – он неизменно произносил свое *долгое имя* с гордостью: Боло-*шапта,* Ивагу-*шапта*… Знак судьбы означал, прежде всего, принадлежность, причастность к некоей общности. Скрепленное морями дрянного пойла, нерушимое рыбацкое братство не обещало, да и не предполагало восхождения на вершину жизни – однако же, всякому позволяло, по праву, ощутить себя своим, и среди своих. А это, как принято было говорить между *шапта*, грело.

Относительно сытое существование, впрочем, было еще одним преимуществом принятия *ви* - неотъемлемым и неоспоримым. Миска *врунды*, наваристой рыбной похлебки, кружка *оки* да щедро набитая мягкими сухими водорослями подстилка предоставлялись всякому, кто нуждался – достаточно было задрать рукав в любом гильдейском трактире, сунув под нос хозяину *знак судьбы.* Ремесленные и торговые гильдии, во имя всеобщего спокойствия и благоденствия, любому среди своих были готовы во всякое время оплатить немудрящий этот набор житейских радостей – так что, как бы ни складывались обстоятельства, участник братства мог быть вполне уверен, что не придется ему провести ночь на улице, да еще на пустой желудок.

Плохие дни судьба приносит -
Но брата брат в беде не бросит.
Бывает плох и целый год -

Но брат тебя не подведет.

Присловье это, известное всем и каждому, родилось, однако же, не в народе. Дорогие теперь сердцу всякого *оолани* слова – как и множество иных речений и поговорок – изначально предназначены были служить поддержанию всеобщего согласия в Городе, и насаждались, в свое время, целенаправленно и умышленно. Широкое их хождение крепило и утверждало братскую верность – чего, собственно, и добивались гильдейские мастера и старейшины, убежденные, что *простецу*-обывателю полагается быть сытым, пьяным, довольным и благодарным – дабы не мешал серьезным людям заниматься важными делами.

Даже принимая во внимание все неудобства, причиняемые лично ему – отщепенцу, оторванному от корней – вполне добровольным отказом занять свое место в сложившемся порядке вещей, Мичи не переставал восхищаться глубоко разумным, почти совершенным устройством жизни, установившимся в Ооли задолго еще до его рождения. Даже догадываясь, что влип – судя по всему – в нешуточную передрягу с законом, Мичи с некоторым удивлением подмечал, что едва ли только не наслаждается, наблюдая отлаженную работу городского порядка, с присущей тому действенностью, разумностью, справедливостью – так что, пожалуй, и не испытывает уже, по большому счету, ни раздражения, ни тревоги.

Итак, ближайшее его будущее особой загадки не представляло. Не обнаружив повыше запястья Мичи *витакке,* знака братства перевозчиков, *смотритель* сухо зачитает ему выдержку из городских уложений, что утверждает незаконность занятия любым промыслом в обход соответствующей гильдии – и уведомит Мичи, что по прибытии их в назначенное место тот будет незамедлительно передан в руки городской стражи. Ради собственной же его безопасности Мичи будет предложено не оказывать сопротивления силам охраны порядка, и всячески содействовать осуществлению правосудия. Вероятнее всего, ночь он проведет за решеткой, на голой деревянной лавке, в компании подобных ему незадачливых нарушителей – а уже на утро нехитрое его дело будет рассмотрено.

Решение судьи поставит Мичи перед простым и понятным выбором. Вероятнее всего, учитывая полное отсутствие в его прошлом проблем с Законом, он вполне мог рассчитывать на отношение доброжелательное, если не дружелюбное. Мичи подумал, что и действительно ведь – каким-то чудом – ухитрился за все четыре года так и не попасться *смотрителям* на глаза. Такому не поверил бы ни один *такке,* хоть настоящий, хоть – вроде него самого – *вольный.* Это и послужит Мичи основным преимуществом – вкупе со спокойной, разумной, ни в коем разе не вызывающей линией поведения. Умение достойно проигрывать Мичи полагал одной из сильных своих сторон, равно как и способность распознать момент, когда полагалось остановиться, перестать уже что бы то ни было предпринимать, когда всякое действие лишь затягивало узел судьбы все туже, превращало и без того плохое положение дел в совершенно невыносимое.

Скорее всего, Мичи действительно мог надеяться не только на относительно мягкое решение судьи, но и на вполне человеческое обращение. Как впервые привлекающемуся к ответственности за незаконный извоз, ему предоставлено будет право незамедлительно устранить саму причину задержания, а именно: на месте согласиться с *выбранной судьбой* – скорее уж, впрочем, *выбравшей*, как сам он не преминул бы заметить – принять *долгое* имя Мичи-*такке*, буквально и означавшее «Мичи-перевозчик», нанести – за счет *братства*! – на левую руку соответствующий знак, уплатить в казну пару монет серебром за рассмотрение дела и, удостоившись от судьи одобрительного похлопывания по плечу и замечания в духе «нельзя

не приветствовать разумный выбор разумного человека», на целиком и полностью законных, отныне уже, основаниях в то же утро вернуться к занятию, которому он и без того посвятил последние годы.

Отказ же от столь замечательной возможности, безусловно, встретит со стороны судьи искреннее непонимание и сдержанное неодобрение. Естественный, а часто и единственный интерес всякого городского чиновника сводится к возможно более полному отсутствию на вверенном ему участке каких бы то ни было неприятностей – и таковые, для Мичи, не замедлят тотчас же воспоследовать, обрушившись на его голову всей тяжестью закона. Отказавшись от простого выхода из создавшегося положения – а именно на это Мичи, по известным лишь ему одному соображениям, твердо уже решился – он, безусловно, выкажет себя злоумышленником, а потому в полной мере и понесет наказание, предусмотренное за незаконные перевозки.

Принятые в Ооли наказания сводились обыкновенно к облагораживающему труду на благо общества. Насколько было известно Мичи, собственное его преступление каралось двумя *мерами* дней работы в каком-нибудь милом местечке, куда обычного *оолани*, не обремененного трудностями с законом и располагающего хоть мало-мальской возможностью выбора, нелегко было заманить ни весьма достойной оплатой, ни настойчивыми попытками убеждения, в духе «настоящему мужчине следует хоть раз в жизни испытать свои силы».

Впрочем, за какие-то деньги желающих найти было все-таки можно. Каменоломни островов Бака и Монке, серебряные рудники Лиибури – места воистину суровые, но где еще простой парень мог бы так быстро себе заработать на новую, скажем, лодку? Совершенно в духе Ооли – духе, чуждом насилию и замешанном на смекалке, здравом смысле и общности интересов, было оставить человеку возможность выбора – будь он даже и пойманным за руку злоумышленником. Главное, чтобы в конечном итоге всем было хорошо – насколько возможно, конечно – и никому не приходилось роптать на свою участь. Какой бы тяжелой ни казалась порой судьба, куда легче принять ее, если понимаешь, что она является следствием твоих же собственных прошлых решений, совершенных и не совершенных поступков, и – самое главное – свободного выбора, происходящего сегодня, прямо сейчас, пусть и среди небогатого, четко очерченного круга возможностей. Житейская мудрость, с вечной оглядкой на которую в Ооли принимались и исполнялись законы, была мощной силой, обеспечивающей покой и согласие городской жизни. Огласив решение, всякий судья, по традиции, обращался к обвиняемому с вопросом, считает ли тот приговор справедливым в достаточной мере, согласен ли с предложенным выбором – к сожалению, ограниченным, но ни чем иным, как только что установленным и подтвержденным нарушением общественного порядка. Как правило, возражений по существу не находилось. Кивнув ли головой, пожав ли плечами, человек отправлялся навстречу последствиям собственных же поступков, и в этом мгновении определенно присутствовало нечто возвышенное и торжественное.

Выбор, перед которым завтра окажется Мичи, скорее всего, сведется к возможности либо отмахать киркой положенный срок, либо найти желающего сделать это вместо него. Все имеет свою цену, даже свобода – и цена известна была заранее. По золотому в день. Мичи быстро прикидывал в голове: один золотой – *мера* монет серебром. В удачный день на воде Мичи зарабатывал порою и до половины *меры*. В не слишком хороший – самый, что ни на есть, обычный – четверть.

Ремесло Мичи находилось в столь суровой зависимости от удачи, погоды, самого ритма городской жизни, что приобретенная, наработанная со временем способность изо дня в день,

несмотря ни на что, зарабатывать эти четыре монеты, казалась ему едва ли не волшебной, служила предметом особой гордости. *Такке* обожали при случае прихвастнуть невиданным барышом, особо удачной ходкой, случайной щедростью пассажира – а то и позубоскалить над глупостью приезжих, не знакомых еще с городскими ценами на извоз: легкой добычей предприимчивых перевозчиков. Кого ни послушай, всякому нет-нет, да и перепадал денек, что один стоил *меры* иных, наполненных привычным, однообразным трудом. Что с того, что частенько приходится довольствоваться жалкой горсточкой медяков, если порой выдаются такие дни? Разговоры эти, сердечная услада всякого *такке,* Мичи оставляли вполне равнодушным. Куда приятнее было ему ощущать чудесную эту свою способность: едва не в любых обстоятельствах вернуться домой с обыкновенной своей добычей – четырьмя монетами серебром. Точнее, конечно, с полной сумкой медяков, которые только еще предстояло сменять, за серебряную монету – по *мере* медью.

В разговоры с прочими *такке* – даже и *вольными,* не входящими в гильдию – Мичи вступать избегал, не считая себя настоящим перевозчиком. В кругу их – проворных обыкновенно, шустрых, словоохотливых, оборотистых – ощущал он себя неуютно, словно бы совершенно чужим. Не умея порой уклониться от навязанной беседы, раскрыть душу случайному спутнику он вовсе не торопился. Излить – как то было заведено – историю своих злоключений, посетовать на погоду ли, на городские ли новые уложения, поспорить о житейских взглядах, обменяться свежими слухами, не упустив случая прибавить парочку небылиц собственного сочинения, да непременно же прихвастнуть своею удачливостью и смекалкой – все это было делом обыкновенным меж перевозчиками, и Мичи, из вежливости, успел за годы свои на воде наслушаться всякого. Хотя радость доброй беседы вовсе была ему не чужда, встретить меж *такке* собеседника по душе он никоим образом не надеялся. В самом деле, попробуй он поделиться даже такой вот малостью, как это его счастливое умение всякий день, с постоянством надежным и неизменным, добывать свои четыре монеты – едва ли кто из перевозчиков понял бы, что уж здесь такого особенного. То ли, конечно, дело – не далее, как вчера: целый *кошти* серебром, а ведь всей и работы было – за угол завернуть! Как и всякому *такке,* Мичи тоже нашлось бы, при случае, чем прихвастнуть – но особого смысла он в этом не находил. За душой имея немалый ворох подобных историй, предпочитал он оставить свое при себе – да и вообще держался от возчицкой братии несколько обособленно.

Как-то раз Мичи даже довелось осуществить заветную мечту всякого перевозчика: добыть полную *меру* серебра за день. Целый золотой: хоть иди, да меняй свою мелочь, в ближайшей же ссудной лавке – как, собственно, он и сделал. То было время, когда только-только пал он жертвой очарования несравненной Сотти, и в деньгах нуждался отчаянно. Расположение этой славной особы обходилось недешево, но Мичи, ошеломленный остротой переживания и глубиной всколыхнувшегося в нем чувства, твердо решил сделать все возможное, чтобы почаще удостаиваться возможности окунуться в этот новый еще для него, удивительный мир, исполненный неги и роскоши. Окрыленный, безуспешно стараясь придать серьезное выражение то и дело расплывавшемуся в дурацкой счастливой улыбке лицу, махал он веслом с рассвета до поздней ночи, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни боли в стертых ладонях и затекшей спине. Когда же упал на свою подстилку, гордо сжимая в руке новехонький, сверкающий золотой, занимался уже новый день – который Мичи и проспал целиком, а потом все равно проснулся измотанным и разбитым. Желанная благосклонность была ему, разумеется, дарована – однако же, хорошенько обдумав итог своего трудового подвига, Мичи принял решение вернуться к жизни размеренной, где раннее утро посвящено было приготовлению и вкушению *ойи* - занятию созерцательному и неспешному, дневное время отводилось добыванию средств к существованию, а закат возвещал окончание трудов и приглашал предаться радостям жизни:

отобедать у Фече или Ааме, прихватить с собою сверток хрустящих *лати,* кувшинчик *оммы,* вернуться домой в сумерках, попыхтеть трубкой, сидя на теплом, прогретом за день солнцем пороге – и провести долгий остаток вечера, а то и добрую половину ночи, в обществе одной ли из старых своих знакомых, или же новой, случайно встреченной, восхитительной спутницы: достаточно было лишь протянуть руку, как покорная избранница оказывалась в полной его власти, готовая перед ним распахнуться, открыться: какая – неторопливо, словно бы робко, нехотя, иная – дерзко и соблазнительно, а та и приветствовала, будто старого друга, обещая теплые, уютные удовольствия. Мичи проводил пальцами по гладкой коже их корешков, разглядывал завитушки тисненых заглавий, выбирал вдумчиво, прислушивался к своему влечению, пока не останавливал, наконец, выбора на единственной, что разделит с ним этот вечер. Наслаждение, какое умела дарить хорошая книга, Мичи мог сравнить разве что с объятьями Сотти, изысканной и волнующей. Что книги, что ласки ее – как и все по-настоящему хорошее в жизни, начинал понимать Мичи – обходились весьма недешево, однако же, приглашали в странствия столь упоительные, что Мичи платил назначенную цену охотно, исполненный предвкушения, и не представлял деньгам лучшего применения.

Приняв за правило откладывать половину всего, что удавалось заработать, Мичи с удивлением обнаружил, что с некоторых пор перестал беспокоиться о деньгах. Небольшой, но постоянно пополнявшийся запас порождал в нем приятное ощущение достатка – и даже избытка. *Планти* – произносил он вполголоса всякий раз, взвешивая в ладони приятную тяжесть набитого медяками кожаного мешочка – *Плааааанти,* тянул он сладостное древнее имя богини изобилия и благоденствия, основательно в Ооли позабытой. Поговаривали, что богиня не прочь была вернуть себе немного людского внимания, а потому не скупилась на милость свою к тому, кто и посреди житейской суеты памятовал о ней, средоточии всей полноты, источнике всякого процветания, и не забывал вознести коротенькую хвалу всякий раз, как к тому находился пускай бы и мало-мальский повод.

Разделяя дневную добычу на две равные доли – для дел малых, обыкновенных, и дел особых, *великих*, как с улыбкой называл он их про себя, Мичи испытывал спокойное удовлетворение от установившегося, наконец, равновесия. Непритязательный в повседневных своих нуждах, Мичи тяготел к жизни скромной, однако же, не лишенной некоторых радостей. Половина серебряного *кошти* – восемь медяков – обеспечивали ему хоть и не слишком изысканный, но вполне сносный, даже добротный обед у Хаби. Хаби-*шаави*, хозяин крошечного трактирчика у самого Кольца, готовить умел, любил, и на порции не скупился – особенно для своих завсегдатаев. Заведения Ааме и Фече были дороже, и ощутимо – зато и отведать у них можно было такие блюда, какие и не снились добряку Хаби. Порою, когда Планти оказывалась к Мичи уж как-то особенно благосклонна, он позволял себе наведаться в одну из этих отменных едален – но только если действительно ощущал себя в настроении для подобных радостей. Обыкновенно же предпочитал попросту утолить голод, отделавшись – за все, про все – половиной *кошти.* Еще половина *кошти* отводилась удовольствиям более, по мнению Мичи, утонченным: хорошая *ойа* и табак стоили вовсе не дешево, но привносили в его существование столько удовольствия, что – столкнись он снова с необходимостью ограничить себя в расходах – они стали бы последним, в чем он себе согласился бы отказать. Что действительно было Мичи не по карману, так это его жилище. Ежедневно выкладывать за наем по целому *кошти* казалось ему расточительством едва ли оправданным. Поначалу Мичи нередко подумывал, не вернее ли будет поступиться столь непозволительной роскошью, перебравшись куда попроще. Однако, первоначальное восхищение все никак не желало его покидать, а там и переросло незаметно в такую глубокую привязанность к удивительному месту, где случилось ему поселиться, что, в конце концов, Мичи понял: остаться ему суждено здесь еще надолго – во всяком случае, пока

позволяют средства. К этой паре *кошти*, составлявшим необходимые его каждодневные траты, в удачные дни Мичи вольно прибавлял горсть мелочи, остававшейся после кратного обмена меди на серебро. Медяки он держал в большом глиняном горшке, и по мере нужды расходовал на бумагу с чернилами, уголь для очага, свечи, *оваки* – мыльную пасту для стирки, купания и бритья, мастику для лодки и множество других, то и дело возникающих трат – предсказуемых и неожиданных, приятных или не слишком – однако же, неизбежных, как очередной *Конец Мира.*

Во всем, что касается дел *великих,* Мичи был чрезвычайно строг. Наблюдая, как день за днем прирастает его крохотное состояние, он предвкушал тот далекий момент, когда достигнет, наконец, цели всякого разумного человека: станет свободным. Необходимость изо дня в день зарабатывать себе на пропитание оставалась для Мичи досадным бременем, от которого он всей душой желал избавиться хоть когда-нибудь, дабы посвятить себя занятиям исключительно возвышенным и приятным.

Стремление это было в его жизни, в каком-то смысле, движущей силой. Стать владельцем гостинички, комнат на восемь, где-нибудь в Середине: нанять толкового управляющего, смазливую горничную, да и отойти, наконец, от дел. Или же, допустим, обзавестись собственной харчевенкой, с добродушным пузатым поваром – каково? Желанную целостность этому, пока что довольно смутному, образу придавала непременная хохотушка-подавальщица, шустрая и сговорчивая. А еще можно было прикупить суденышко – пусть даже и не большое, лишь бы вмещало *меру*-другую бочонков да сундуков, да и отправиться торговать: прикупаешь тут, сбываешь там – весь мир обойти можно, в каждом порту – подружка, а всего-то и надо: взять в капитаны старого морехода, бывалого, просоленного – а сам хоть совсем из каюты не вылезай: читай, размышляй, пиши… Мичи трепетно вынашивал эти свои мечты, строил далекие планы – так что, будучи прекрасно осведомлен о кое-каких собственных слабостях, четко и определенно условился с собою однажды относительно поводов, позволявших притронуться к аккуратным стопочкам золотых монет, что хранились в одном из отделений старого, тяжелого, медью обитого сундука темного дерева.

Всякую крупную трату Мичи рассматривал как неизбежно замедляющую и без того уж слишком неспешное исполнение его замыслов; причин, что оправдывают подобное расточительство, находил он весьма немного – но, тем не менее, находил. Стоит только дать себе волю – понимал Мичи с полной определенностью – как тут же все, с таким трудом добытые, отвоеванные у требовательной, назойливой повседневности средства незамедлительно будут израсходованы до последнего медяка – как не раз уже, собственно, и случалось, к его досаде. Утешался он, впрочем, мыслью, что ни одна монета напрасно потрачена не была.

Мичи с некоторой гордостью подмечал, что имеет все основания доверять и собственному вкусу, и умению находить по сходной цене вещи поистине замечательные. Если уж он покупал книгу – а расстаться ради этого с целым золотым, согласно заведенному порядку, Мичи позволял себе не чаще раза в *полную меру* дней – та занимала на полке свое собственное, будто одной лишь ей предназначенное место. Тщательно выбранная, всякая книга ему становилась чудесной спутницей, замечательной собеседницей, с которой не раз скоротает он медленный, тихий вечер. Безусловно, с течением времени предпочтения его могут – и даже непременно должны были изменяться; Мичи готов был к тому, что иные из приобретений его теперешних однажды утратят былое очарование – и все-таки, до сих пор по собственному желанию расстался он с одной-единственной книгой – «Размышлениями о природе человеческой» Гакко Печального. «Размышления» эти, собрание примеров всевозможной людской глу-

пости, жестокости, алчности и тщеславия, были чтением занимательным. Человеческой природы, однако, Мичи успел за последние свои годы насмотреться вдоволь, и к брюзжанию Гакко, вовсе не случайно заслужившего свое прозвище, мог бы прибавить уже немало и собственных наблюдений. Даже и признавая за суждениями его точность и правоту, Мичи никак не мог согласиться окончательно с выводами Гакко – вернее, всему вопреки, не желал еще признавать, что дела людские именно так и обстоят, как было в книге описано, а безнадежная тоска, неизменно накатывающая всякий раз от ее прочтения – неизбежный удел человека мудрого, понимающего, что к чему. Словом, от «Размышлений» Мичи избавился – не без некоторого сожаления, но и не без пользы, ухитрившись получить с перепродажи прибыль в пол-*меры* медью.

Дважды в год, с наступлением зимы и лета, приходил для Мичи черед расставания еще с одним золотым. Мичи тщательно пересматривал свою одежду – что просилось в починку, сносил знакомой портнихе; обзаводился и кое-какой, по нужде, обновкой: теплой ли шерстяной накидкой, парой-другой крепких штанов, или добротными башмаками. Вещи служили ему исправно, долго – но в должный срок требовали внимания, а порой и замены. Согласившись с этими тратами, положив себе предусматривать их заранее, Мичи с некоторых пор одевался уже не только сообразно погоде, но имел и подходящую вещь едва не для всякого случая и настроения. Подобное положение дел ему – вечно готовому пожертвовать последней монетой ради хорошей книги, а потому привычному ко всяческому рванью и обноскам – было в диковину, да и радости доставляло немало, подтверждая справедливость того продуманного, размеренного подхода к делам житейским, который в последнее время он тщательно вырабатывал и осваивал.

В конце зимы, ко дню прощания с уходящим годом – празднику домашнему, самому в Ооли любимому, всенародно отмечавшемуся с восторгом и пышностью – легко, впрочем, переходящими в буйство, чрезмерность и непотребство – Мичи позволял побезумствовать и себе. Перебросив через плечо тяжелую, груженую медной монетой кожаную сумку – полный золотой в мелкой разменной монете, ради удобства торга – он отправлялся утолять свою страсть к прекрасному в лавки *старьевщиков* у дальнего края *Кольца.* Наметанным глазом искал он неброские, глубинной красоты предметы *Прежнего Мира*; подмечал, разглядывал, выделял сокровища посреди залежей хлама. Торговался отчаянно, и возвращался порой с находками столь дивными и диковинными, что долго еще не мог поверить своей удаче. Старое обыкновение одаривать друг дружку на этот день всевозможной полезной утварью не обошло стороной и Мичи. Не ожидая подарков – да и едва ли готовый довериться чужому вкусу в таких делах – Мичи понемногу, из года в год, окружал себя вещами, один уже только вид которых неизменно его наполнял особенной, теплой радостью, а уж пользоваться ими по назначению – предметов бесполезных, одной красоты ради, он не терпел – было чистой воды удовольствием, если не наслаждением.

Ко дню своего рождения Мичи обыкновенно присматривал себе в подарок очередную курительную трубку. На золотую монету, собственно говоря, можно было приобрести полную сумку трубок простецких – из тех, что вполне устраивали Мичи в самом начале его увлечения. Теперь же он избавлялся понемногу от тогдашних своих покупок – с выгодой ли, с потерей – замещая понемногу эти обыкновенные, мало чем примечательные трубки совсем уже другими, особенными. Такие даже и просто разглядывать можно было до бесконечности: совершенство линий, безупречное исполнение, изумительный рисунок древесных волокон… Жизнь не настолько длинна – полагал Мичи – чтобы делить лучшие ее мгновения с плохонькой, посредственной трубкой. Выложив золотой, рассчитывать можно было на трубку великолепную – но Мичи и этого было мало. Выискивал он что-то свое, среди множества исполнен-

ных изящества образов пытаясь нащупать такое, от чего то замрет, то чаще забьется сердце, а внезапное узнавание окатит теплой волной: вот же! Вот! Находить подобного рода сокровища стало излюбленным его развлечением. Даже и с золотым в кармане – как Мичи быстро сообразил – невозможно было запросто заглянуть в ближайшую лавку, да и вернуться домой с того рода добычей, к которой успел он уже, некоторым образом, приобрести вкус. Потому – хотя уступал он страсти своей к собирательству редко – Мичи принял за правило при всяком удобном случае заглядывать в лавки и мастерские. Иногда знал заранее и вполне отчетливо, за чем же именно он охотится; чаще, однако, попросту позволял ей – *правильной* трубке, *той самой*, словно бы в целом мире одному ему только и предназначенной – отыскаться, найтись, встретиться, попасться на глаза: непредсказуемо, неожиданно. Когда же подобная встреча случалась – а происходило это весьма нечасто, да и вообще, с годами, все реже – он просил хозяина на некоторое время отложить трубку – до дня своего рождения; оставлял и серебряную монету в задаток. Мало-помалу хозяева табачных лавочек – не столь уж и многочисленных в Ооли – стали Мичи уже узнавать, и нимало не затруднялись таким пустяком, как придержать приглянувшуюся тому трубочку до следующей годовщины, что приходилась на самый последний день лета – если даже и оставалось времени до нее изрядно. Передумывал Мичи редко, отложенное ему выкупал – и не только по очевидному нежеланию терять оставленный в залог *кошти,* но убедившись, что выбор им сделан верно, так что лучшего он подарка едва ли себе и сыщет.

Таковы, в общих чертах, и были его ежегодные траты: пара золотых на обновки, пара – на милые сердцу вещицы; с пол-*меры* монет - на книги. Два серебряных *кошти,* с какой-то мелочью – не столь даже и заметные – что всякий день поглощала насущность житейская, в год, тем не менее, складывались в *полную меру* золотом – что неизменно удивляло Мичи: крохотное, а все ж таки – состояние! Поделать с этим, впрочем, едва ли можно было хоть что-нибудь. Даже и отказав себе во всякой житейской радости, Мичи урезал бы ежедневные свои траты разве что вполовину – но две *меры* золотом, за год таким путем сбереженные, не оправдывали в его глазах столь сурового с собой обращения. Оставались еще, конечно, вечера в обществе Сотти. Праздник, наступавший для Мичи раз в каждую *меру* дней – а поначалу, если уж быть откровенным, и много чаще: каждую половину, каждую четверть *меры,* через день, да что там – с улыбкой вспоминал Мичи эти не столь уж давние времена – бывало и каждый день. То есть, конечно, ночь. Дорогая, умелая, роскошная, восхитительная, все понимающая Сотти, за пару лет странного их знакомства успевшая стать единственным его настоящим другом – что, впрочем, вовсе не мешало Мичи испытывать к ней влечение, встречаемое с теплой благосклонностью всякий раз, когда мог он это себе позволить. Прогулки в этом саду изысканных наслаждений имели цену, казавшуюся Мичи поначалу немыслимой, запредельной: золотая монета, и за что же? За всего-то навсего одну ночь? Да в порту – любая, за пару *кошти*… Разницу Мичи понял быстро, в первый же вечер – и с тех самых пор старательно избегал всякой мысли о том, на что еще мог бы истратить он свой золотой, и во что складываются за год монеты, оставленные на кованом столике у ее изголовья. Ночь в ее исполнении была вечностью, длящейся до утра – густой, влажной, терпкой, глубокой, податливой, трепетной бесконечностью, в которой Мичи тонул, и выныривать не спешил. Сотти, упоительная, несравненная Сотти – которой бы, кстати, и в голову не пришло бы деньги копить, а не тратить немедленно на духи, кружева, шелка, сладости, крохотные томики стихов и прочие очаровательные безделушки – с полным правом занимала теперь и в сердце Мичи, и в череде неизбежных его издержек собственное свое место, особое, и было это непререкаемо и чудесно.

Так или иначе, ремесло *такке,* даже и вольного, на собственный страх и риск, было занятием прибыльным. И верно – пойди, поищи желающих что ни день, в любую погоду, махать веслом, да еще и терпеть у себя же в лодке кого ни попадя. Спросом перевозка в Городе

пользовалась: что-нибудь заработаешь непременно, а если уж не совсем дурак – то присмотришься, приглядишься, да и приспособишься так, что на жизнь достанет – и на вполне себе неплохую, надо заметить, жизнь. В понимании Мичи это означало возможность потратить меньше, нежели заработал – даже и позволяя себе, порой… Позволяя. Приняв за правило откладывать всякий день пару *кошти* - первым же делом, по возвращении – Мичи приближал далекую свою мечту с поспешностью ползущей по берегу черепахи, добавляя к заветному состоянию *полную меру* золотом каждый год. Положив себе так держать – и продержаться, во что бы ни стало, всего какую-то *меру* лет, от которой четверть уже прошла, и прошла не даром, о чем молча и весомо свидетельствовали ровные стопочки золотых на дне его старого моряцкого сундука – Мичи рассчитывал, если только Планти не вовсе уж оставит его своей благосклонностью, совсем не старым еще человеком сбросить с себя досадное бремя и зажить уже ровно той, наконец, жизнью, какую единственно и считал себе подходящей: в уединении и тиши, предоставленный себе целиком и полностью, в окружении восхитительных книг, утонченных вещей, предаваясь – в покое и неге – размышлению и наслаждениям.

Словом, кое-какими средствами Мичи располагал. Теперь же ему предстояло решить, с какой потерей будет смириться легче, что было дороже: две *меры* дней собственной жизни, или такое же точно количество ступенек в той лестнице, по которой замыслил он добраться к своей мечте, а потому возводил упрямо, складывая золотой к золотому. Решив, что у него еще будет более чем достаточно времени обдумать это – сегодня же ночью, на жесткой казенной лавке, и склоняясь к тому, чтобы рассматривать вопрос исключительно с точки зрения денежной выгоды, оставив всяческие переживания в стороне, Мичи попытался вспомнить, много ли табаку оставалось в его кисете. Оценив состояние своих запасов как вполне удовлетворительное, он, наконец, снова почувствовал себя расслабленно и непринужденно, поддернул край накидки, спадавший с плеча, и вытянул левую руку ладонью вверх, полностью готовый ко всему, что последует дальше.

– Нет. Просто Мичи.

Пассажир его, казалось, на мгновение растерялся, замешкался – но неожиданно вытянул вперед и свою левую руку. Имя его было выведено вязью – что казалось несколько необычным для *оолани*. Ну, да мало ли. *Знак судьбы* не принадлежал ни одному городскому *братству* – из тех, что были известны Мичи. И никаких больше знаков, даже и даты рождения. Чужеземец? Жестом дружеского приветствия, принятым среди мужчин в Ооли, старик обхватил ладонью руку Мичи пониже локтя. Мичи ответил тем же, так что внутренние стороны их предплечий, с нанесенными именами, соприкоснулись. Не разрывая пожатия, незнакомец представился:

– Аши звать. *Ойана* тут еще, рядышком – не слыхал? «У Аши», ага. Так и названа. От северного причала – пара шагов и есть. Ты бы это – заглянул, а? *Оки*, да всякого там такого, Аши не держит – это уж извини. Одна *ойа*-матушка. Но уж какая зато, Мичи – о! О!

Старик закатил глаза, подразумевая нечто, словами не выразимое.

– Ты, это самое, о*йу*-то вообще – как? Любишь, нет? А и вот как сделаем: Аши, почитай, угощает, сегодня-то. За ради встречи, такое дело. А понравится ежели – ну, так и заходи потом, будешь рядом. Ремесло-то ведь – то еще у тебя! Нет-нет, да передохнуть и не помешает, чашечку пропустить. Или как?

Мичи едва мог поверить, что худшие его опасения на этот раз, похоже, не оправдались. Не *смотритель,* то есть*? Ойадо?* Проведенные на воде годы научили его мало-мальски разбираться в людях, так что и беглого взгляда порою было достаточно, чтобы составить о человеке впечатление едва ли не исчерпывающее. Приучив себя прислушиваться и доверяться смутным своим догадкам, ошибался он теперь редко. Оказавшись однажды вышвырнутым из собственной лодки в мутную зеленоватую воду канала парочкой хорошо одетых, ухоженных и – по первому впечатлению – не представлявших ни малейшей опасности господ весьма почтенной наружности, а также расставшись, в другой раз, с любимым своим кошельком и всей дневной выручкой в пользу дряхлого с виду старика, неведомо как молниеносным движением выхватившего из складок штопанной-перештопанной своей накидки кривой зазубренный кинжал, холодное прикосновение которого услужливая память с легкостью позволяла ощутить на шее по первому требованию – а порою и вовсе без такового – Мичи стал осторожнее, осмотрительнее.

Что запомнилось Мичи, так это крупная дрожь, что била его тогда. В первом случае она была вызвана пронизывающим холодом – дело было на исходе зимы. Мичи кое-как выкарабкался из канала на набережную, долго призывно махал ладонью бывалым, а потому равнодушно отводящим взгляд и проплывающим мимо *такке,* и в конце концов, уже почти не чувствуя тела под быстро дубеющей на морозе одеждой, почти силком прыгнул в лодку к какому-то мальчишке. Нужно было догнать, выловить, хоть как-то пришвартовать свою, сносимую медленным течением в сторону пустующего в это время порта, за которым и вовсе уже -открытое море. Обошлось: лодку тогда вернули, а обсохнуть и отогреться целым кувшином горячей *оммы*, щедро сдобренной посредственным местным *орго,* удалось тут же, в ближайшей портовой харчевне. Во второй раз такая же точно дрожь вызвана была не морозом, но ощущением невероятной хрупкости жизни, медленно накрывающим пониманием, сколь тонка, на самом деле, грань, отделяющая бытие от небытия, сколь краткого мига достаточно, чтобы жизнь прервалась, не успев не то что вступить в последнюю свою битву – но даже и понять, что же, собственно, произошло. Одно легкое движение, неуловимое… да и все.

Мичи порой размышлял, до чего красиво было бы, скажем, уйти, потерпев поражение в заключительной яростной схватке жизни со смертью. Или же, наоборот, медленно, подобно углям в очаге, догореть, отдавая тепло и свет, мерцающий, исчезающий, до самой последней, прощальной, едва тлеющей уже искорки, после которой – ничего, только тающая в воздухе тонкая струйка дыма… Злополучная встреча с тем стариком, близкое знакомство с выщербленным, холодным железом оказались для Мичи подлинным потрясением – первым его осознанием, до чего же глупой, бессмысленной, будничной, напрочь лишенной даже налета поэтического очарования, может оказаться смерть. В том числе, его собственная.

Мичи заглядывал в себя, мысленно прокручивал в обратном порядке события, пока не обнаружил того, что искал: мгновения, когда нечто, названия чему он не знал еще, словно бы предупреждало его изнутри, побуждало проплыть мимо, не оборачиваясь на оклик, на взмах руки – неосязаемое, смутное, мимолетное чувство тревоги, которым так легко было пренебречь ради очередной монеты.

Он словно бы снова и снова нырял в собственную глубину, всматривался сквозь непрозрачную толщу в то, что было на самом дне – и нашел ее, наконец: затопленную колокольню, поросшую ракушками, тиной, обжитую рачками и мелкой рыбешкой, средоточие тишины столь непроницаемой, будто само понятие звука было ей чуждо – однако же и там, среди безмолвия и непроницаемой тьмы, верную своему назначению. Гулкий, глухой удар ее коло-

кола раздавался всякий раз вовремя – в ту самое мгновение, когда было еще не поздно, когда выбор еще оставался. И Мичи учился его слышать. Принимая риск, несколько раз он отвечал согласием вопреки отдававшейся в нем эхом тревоге, только чтобы лишний раз убедиться в надежности, непререкаемости полученного предупреждения. Оставаясь собранным, готовым к любой неожиданности, он работал веслом, краем глаза ни на секунду не выпуская из вида подозрительного своего пассажира, ловя малейшее движение, тщательно подбирая, если нужно было, слова, само даже звучание, окраску речи – что, возможно, позволит парой случайных слов разрядить собиравшуюся, готовую уже разбушеваться грозу. Отделавшись, наконец, от очередного подарка судьбы, доставив сокровище это, куда уж там было надобно, Мичи вздыхал с облегчением и отплывал подальше. Оказавшись в одиночестве и недосягаемости, он раскуривал трубку, а затем мысленно погружался туда – на глубину, откуда достигали его эти протяжные, гулкие, похожие на сдержанный стон удары – и прижимался ладонями, лбом, губами к холодной, шероховатой поверхности верного своего колокола. И – выныривал, жадно хватая губами завиток крепкого дыма, словно первый, такой желанный, глоток воздуха.

Едва еще только незнакомец успел как следует устроиться в лодке – теперь, задним числом, Мичи понимал это с полной ясностью – тайный его тревожный колокол заговорил. Голос был вполне отчетливым, различимым. Да и выглядел старик ровно так, как и полагалось бы, в представлении Мичи, выглядеть *смотрителю* - как-то уж слишком не броско, подчеркнуто неприметно. Хотя судьба и помогала Мичи до сих пор избегать неприятной встречи, присмотреться к этой породе со стороны он успел, и общее впечатление для себя составил. Окажись Аши и вправду *смотрителем,* досадовать оставалось бы разве на собственную же свою невнимательность. Ведь всего-то и надо было – как Мичи не раз и поступал в подобных сомнительных случаях – отказаться, отклонить плату широким жестом, да изобразить этакую душевную теплоту – отчего бы, мол, и не подбросить славного человека, ежели по пути? И все-таки, кажется, обошлось. Чего бы *смотритель* делать не стал, так это представляться – тем более, *соприкасаться* с ним *именами*. Не говоря уж и вовсе об этом приглашении на чашку *ойи,* которым, вместо препровождения в кутузку, неожиданно обернулась встреча. Все это не ослабило еще в Мичи внутренней собранности: верная его затопленная колокольня подавала голос нечасто – и никогда без причины серьезной, веской. Что-то происходило. Что-то, отдававшееся внутри неясным этим волнением – но теперь, когда Мичи успокоился достаточно, чтобы взвесить и оценить это чувство, он с удивлением обнаружил очевидную разницу между теперешним смятением и привычной, знакомой ему тревогой. Он все еще словно бы различал гулкое колокольное эхо – там, в глубине своего существа – и безмолвный этот звук был иным, незнакомым еще, и предвещал не опасность, но звучал, как полагалось бы звучать колоколу, созывающему народ на площадь по случаю особому, важному. «Эй, – словно бы говорил он, – проснись!»

Сумерки понемногу сгущались, и отведенное на сегодня работе время, в любом случае, подходило уже к концу. Даже и не вполне готовый еще довериться столь неожиданному обороту дела, на приглашение старика Мичи решил ответить согласием – не ожидая, впрочем, уж слишком многого. Он пожал плечами и кивнул, давая спутнику понять, что не желал бы доставлять неудобства, и ни в коем случае не напрашивается – но, в сложившихся обстоятельствах, безусловно почтет за честь…

В том, что касалось *ойи,* Мичи с некоторой застенчивой гордостью полагал себя человеком довольно сведущим, и удивить его было непросто. Жадный до новых впечатлений, он частенько навещал лучшие – или считавшиеся таковыми – городские *ойаны,* выбирая не самое людное время, чтобы занять приглянувшийся столик – у окна или, напротив, в самой глубине,

в уютном уголке у очага. Предлагая гостям *ойу* – и ничего кроме *ойи,* как заведено было со времен *Прежнего* еще *Мира*, *ойаны* деликатно, но настойчиво состязались между собой не только в искусстве ее приготовления, но и в создании обстановки, что отличала одно заведение от другого. Мичи любил их особую атмосферу: изысканную, неторопливую, нежную. Такова уж была природа этого удивительного напитка, что всякая суета словно бы сама собой прекращалась, чуждая его духу – уступала, сходила на нет, будто стесняясь собственной неуместности. Устроившись поудобнее, Мичи раскуривал трубку и с наслаждением принимался осматриваться.

Посмотреть было на что. Чего стоили одни только сводчатые потолки *ойаны,* что располагалась в подземельях бывшего Арсенала – по прямому назначению не использовавшемуся едва ли не со времен *Вольницы*! Эти крохотные залы, расположенные на разных уровнях, соединенные коваными гулкими лестницами… Или, скажем, *ойана* на острове Урсиа, где находилась единственная уцелевшая мозаика работы самого Оми Киатти. Полотно изображало четверых ученых господ, наслаждающихся беседой за чашечкой *ойи.* Внимательному наблюдателю открывались в картине все новые, все более глубокие смыслы – в этой многослойности обнаруживались и образы четырех времен года, и этапы становления человеческих судеб, и обобщенное представление типов характера и темперамента. Видели здесь и ступени общественной лестницы, и символическое отображение четырех основных философских школ. Предполагали и некое тайное послание, сокровенную истину, что заложена была в картине и только ожидала еще своей разгадки, подобно множеству надписей на позабытом языке *Древних*. К тому же, в силу скрупулезной точности Оми в изображении мельчайших деталей, мозаика его оставалась бесценным источником сведений о жизни времен расцвета *Прежнего Мира.* Естественно, служила она и неиссякаемым источником дохода самой *ойане*, занимавшей небольшое, круглое, куполообразное сооружение, служившее в прежние времена то ли склепом, то ли храмом, то ли и вовсе городской баней – среди людей, неравнодушных к исторической точности, не утихали по этому поводу вежливые, хотя и ожесточенные споры. Маленькая чашечка *ойи* подавалась здесь со стаканом настоянной на лепестках *имби* родниковой воды, доставленной с самого Лиибури, и обходилась в серебряную монету. Чуждый всякого мотовства, Мичи порой не мог отказать себе в удовольствии еще раз полюбоваться Нерги, Ирабаши, Хофу и Мичи. Этими именами он сам же и наделил изображенных на мозаике *ойати* древности, почитателей и ценителей священного уже и в те далекие времена напитка. Эти четверо успели за годы стать Мичи ближе, нежели кто угодно из современников. Последнему, самому старшему среди них, Мичи вовсе не случайно отвел собственное свое имя. В улыбке, что пряталась в уголках глаз этого славного старика, чувствовалось что-то бесконечно родное, знакомое – и в то же время столь далекое и возвышенное, что Мичи глядел на него с некоторых пор не иначе, как на собственный свой идеальный образ: желанный итог и конечную цель со вкусом прожитой жизни. Странная эта их связь находила себе выражение в долгих, обстоятельных письмах, которые Мичи время от времени писал, обращаясь к самому же себе, только в некотором, весьма отдаленном будущем – *Мичи времен поздней осени.* В этих письмах делился он тем, чему едва ли нашел бы понимание среди людей, которых изо дня в день видел рядом; спрашивал совета, размышлял – и образ Мичи с картины Оми всякий раз оживал перед мысленным его взором столь явственно, словно бы старик, доподлинно знавший развязку всех его жизненных историй, и впрямь незримо присутствовал рядом – хоть угощай его чашкой *ойи*.

Чтобы приготовить *ойу* по всем правилам, как полагается, необходимы были четыре предмета: *котта* – тяжелая ступка с пестиком, *вайгни* – небольшая мисочка с лопаточкой для смешивания составных частей, жаровня *буртха*, да еще *джуми* – сосуд с длинной ручкой, в котором *ойа* и доводилась четырежды до закипания. Составляющими *ойи* служили части ред-

ких растений – упорно не желавших произрастать в Ооли, несмотря на все попытки *ойати* вывести местные их сорта. Последовательно представленные в сложившемся порядке приготовления *ойи*, части эти символизировали, очевидно, круговорот жизни. Корневище *ншири,* собираемое ранней весной, когда в нем только пробуждались жизненные соки; соцветия *йими* с тонкими бархатными жилками, распускавшиеся в разгар лета; опавшие и пожелтевшие осенние листья *сангали* – и, наконец, высушенная сердцевина прихваченных морозом плодов *иду*. Драгоценным составляющим полагалось храниться плотно закрытыми, при необходимости – даже и в запечатанных воском емкостях, дабы не выдохлись, не пересохли, не утратили ни единой нотки тончайшего своего, богатейшего аромата.

Точного, раз и навсегда установленного соотношения, разумеется, не существовало. Подбирая пропорции, приходилось опираться исключительно на собственный опыт, доверяться чутью. Для приготовления *ойи* каждую из частей следовало по отдельности, не нарушая естественной последовательности, измельчить в ступке в тонкую пыль, по мере готовности перекладывая в *вайгни.* Когда все четыре составляющие были растерты, необходимо было тщательно перемешать их между собой широким, чуть закругленным концом специальной лопаточки, после чего на некоторое время оставить смесь «подышать». Вскоре наступал черед насладиться нежнейшим ее запахом – сходным, но в то же время отличным от аромата готовой *ойи*. На этой стадии кончик носа Мичи, зачарованного сложной игрой нюансов готовой смеси – до полной невозможности оторваться от *вайгни* - оказывался, обыкновенно, припудрен кирпичного цвета пылью, которую он, бывало, так потом и забывал стереть. По этому знаку *ойати* частенько с улыбкой узнавали друг друга на улицах Города. Подышавшую воздухом смесь, соединившую отдельные запахи в единое целое, той же лопаточкой можно было теперь бережно перекладывать в *джуми*, и заливать прохладной водой. Желательно было использовать родниковую – ключевая вода богатого серебром Лиибури ценилась особо – но, за неимением таковой, вполне можно было обойтись и самой обыкновенной, дождевой, разве слегка «укрепив» ее каплей морской воды.

Буртха - жаровня – представляла собой своего рода глубокую сковороду с плоским дном и высокими бортами, на ладонь заполненную чистейшим, тщательно просеянным песком. Огонь под ней обыкновенно разводился еще до начала всего ритуала, и к тому времени, как *ойа* залита была водой, *буртха* успевала прогреться как раз в нужной мере. *Джуми* следовало теперь погрузить в горячий песок, и плавными движениями, слегка покачивая, водить им от середины к краям и обратно, вырисовывая донышком сходящиеся и расходящиеся спирали. Через *панту*-другую вода вскипала, и над *джуми* поднималась плотная шапка пены. Тогда сосуд было нужно слегка приподнять над жаровней, легко встряхнуть, постучать днищем о стол, или же просто перемешать *ойу* узким концом лопаточки. Доводить до кипения *ойу* полагалось четырежды, после чего можно было и разливать по чашкам. Будучи представленной сторонам света, короткими движениями: к себе, от себя, влево и вправо, *ойа* считалась, наконец, готовой к употреблению.

Освоив должный порядок приготовления, как следует разобравшись в тонкостях древнего искусства, Мичи себя полагал заправским *ойати*. Вот почему ожидания его от посещения заведения Аши – о котором он, говоря по правде, и слыхом не слыхивал – исчерпывались невысказанной вслух надеждой: *ойа* будет… горячей, всего скорее. Не так уж мало, таким-то прохладным вечером.

Пришвартовав лодку у свободной каменной тумбы неподалеку от Северного причала, Мичи последовал за Аши по закоулкам Рыночного острова. Хоть Аши и утверждал, что *ойана*

его – совсем рядом, рукой подать, шли они, впрочем, достаточно долго. Перестав уже понимать, где теперь они оказались, Мичи с вежливой настороженностью поинтересовался, много ли осталось пути, получил вполне ожидаемый ответ – пара шагов, пара шагов! – и уже начал было сожалеть о принятом приглашении, как Аши, нырнув в очередной проулок, вышел к набережной и остановился, расплываясь в улыбке.

– Вот, – сказал он – пришли.

Мичи огляделся. Перед ними был горбатый мостик, ведущий на крохотный, утопающий в зелени островок. Как бывалый *такке,* Мичи тут же подметил, что подойти к острову по воде было не то, чтобы вовсе уж невозможно – но петлять по здешним узким каналам пришлось бы едва ли не до утра. Пешком было вернее, определенно. Он даже поймал себя на том, что испытывает обыкновенную в подобных случаях благодарность к человеку понимающему, согласному пройтись немного от удобного причала к столь хитро расположенному своему жилищу – вместо того, чтобы заставлять перевозчика кружить в потемках по едва проходимым протокам – но тут же вспомнил, что с работой на сегодня покончено, и продолжил осматриваться.

Островок окружен был невысокой, в два локтя, каменной изгородью, основательно зарос густым кустарником и ветвистыми, тонкими деревцами неизвестной Мичи породы. Заброшенный сад выглядел, следовало признать, живописно. Заросли скрывали приземистую, невообразимого возраста и назначения постройку. Здание было круглым – таких не строили в Ооли со времен Прежнего Мира. Кое-где в щелях каменной кладки гнездилась блеклая сухая трава. Духом былых времен здесь веяло так отчетливо, что Мичи, страстный любитель разного рода древностей, немедленно преисполнился восторженного волнения, не понаслышке знакомого всякому увлеченному исследователю.

Старых построек в Городе с каждым годом оставалось меньше и меньше. Здания ветшали, приходили – вопреки стараниям обитателей – в состояние для жилья непригодное, а то и вовсе опасное. Большей же частью строения Прежнего Мира разобраны были намеренно, ради добротного камня и – прежде всего – драгоценной площади под застройку. Островки вроде этого, обыкновенные для старого Ооли, теперь уже были наперечет; Мичи казалось, что он знает их все – ну, или почти все. Ставить каждый дом на собственном, отдельном клочке земли – как принято было прежде – казалось ныне роскошью непозволительной. Даже и сами острова все чаще теперь срастались, сплетались мостиками, а здания тянулись вверх, громоздились одно на другое, нависали над мостовыми, пока не смыкались над мутной водой каналов, так что мосты перебрасывались уже из окна в окно, с крыши на крышу. Для переполненного, бурлящего Ооли пути назад уже не было – а потому каждый уголок, всему вопреки сохранивший былое очарование, неведомо как устоявший перед суровым натиском времени, был драгоценной находкой для Мичи – и немногочисленных ценителей на глазах исчезающей старины. Глядя на сегодняшний Город, уже почти невозможно было представить себе изначальную его красоту: бесчисленные зеленые островки, вольно разбросанные посреди широкой воды. Ни запруженных каналов, ни улочек-лабиринтов; вместо теперешних строений – отчаянно карабкающихся вверх, друг по другу, срастающихся балконами, слипшихся стенами, сплетающихся мостками, галереями, переходами – чистая вода, ясное небо, крохотные садики, зеленая лужайка перед каждым крылечком…

Жилище Аши, будто вросшее в островок корнями, вне всяких сомнений было исключительно древним, хотя и несло отпечаток заботливого вмешательства. Черепичная крыша без единой выбоинки; вполне еще крепкие, ровные деревянные ставни; тяжелая кованая дверь,

явно выкрашенная совсем недавно – темно-красная, точно в цвет черепицы. Надпись на двери, старательно выведенная от руки, гласила, и верно: *«У Аши»*. Даже и на ведущей к дому тропинке каждый камень брусчатки плотно сидел на своем собственном месте – в отличие от выщербленных, разбитых донельзя мостовых Рыночного Острова, по которым они сюда пробирались. Рыночный этот местечком был тем еще: скрипучие лестницы с выломанными ступенями; тесные – не повернуться – крытые переходы, грозящие вот-вот обвалиться прямо в канал; нависающие отовсюду пристройки, того и гляди готовые рухнуть на головы незадачливым путникам; хлипкие мостки, ведущие с крыши на крышу – там, где застройка и вовсе не позволяла уже пройти по низу. Не знакомому с историей Города человеку едва ли удалось бы и представить себе, что нынешняя громадина Рыночного острова состояла некогда из множества мелких островков, в точности похожих на этот вот, неведомо как отстоявший свою независимость.

Аши явно наслаждался впечатлением, которое производило на Мичи его жилище. Наконец, он запустил руку под свою накидку – явно знававшую лучшие времена – и отцепил от пояса довольно увесистый, сложной работы ключ. Глаза Мичи вспыхнули: старые вещи неизменно его притягивали.

– Вещь, а?

Аши не без гордости протянул Мичи ключ, украшенный тончайшим кружевом кованого плетения. Холодное старое железо легло Мичи в ладонь. Узнавание было мгновенным и безошибочным: вещь, действительно. Больше таких не делают. Наконец, Мичи сделал над собой усилие и заставил себя расстаться с ключом – хотя, говоря по правде, мог бы разглядывать его еще долго. Похожие ключи встречались ему порой в лавках древностей; несмотря на изумительную работу и несомненную древность их – откликавшуюся в Мичи не одним только восхищением, но чувством, будто встретил старого друга – приобретать подобные вещи он не спешил. Дело было не только в цене. Хорошенько поторговавшись, Мичи вполне мог бы позволить себе радость обладания таким молчаливым свидетелем былого, однако же давно принял себе за правило не приобретать вещей, не имеющих применения. Польза всякого ключа заключалась в способности его открывать и закрывать двери; каждому ключу полагался замок. Как бы ни восторгался Мичи работой мастеров древности, всякий раз приходилось со вздохом ему признать, что замка к такому ключу у него не имелось. Зато он, похоже, имелся у Аши – и это казалось Мичи удивительным, невероятным. Сколько же простоял этот дом? Сколько лет этой тяжелой двери – вне всяких сомнений, не уступавшей самому дому возрастом? Даже если предположить, что постройка закончена была перед самым уже концом Прежнего Мира… это же все равно *мера* человеческих поколений. Немыслимо.

Аши четырежды провернул ключ в замочной скважине – ни скрипа, ни скрежета. Ровные, гулкие обороты – все исправно, работает до сих пор, это надо же… Ухаживая за вещами как следует, можно продлить им жизнь – но чтобы настолько? Старые мастера что-то определенно знали, основательно теперь уже позабытое… Времени подумать об этом как следует, впрочем, не оставалось: Аши распахнул тяжелую низкую дверь, и жестом несколько преувеличенного гостеприимства приглашал Мичи проходить внутрь.

Сам Аши, конечно, именовал свое заведение *ойаной,* да и расположилось оно в постройке достаточно древней, что для *ойаны* было делом первейшей важности: настоящий *ойати* непременно обращал внимание на то, соответствует ли обстановка духу традиции, отвечает ли настроению, перекликается ли со вкусом изысканного напитка. Отыскав однажды место себе

по душе, *ойати* нечасто изменяли любимому заведению. Завлечь разборчивого посетителя было задачей сложной – а чтобы переманить и удержать завсегдатаев, *ойана* непременно должна была обладать особым источником притягательности. Одних только старых стен в таком деле едва ли было достаточно. Новые *ойаны* открывались в Городе часто – всякому *ойадо,* мало-мальски освоившему ремесло, не терпелось опробовать силы в собственном предприятии. Тем не менее, большинство их закрывалось, не продержавшись и года – а оставшимся, по скромному мнению не одного только Мичи, но и всякого понимающего *ойати,* в основном лучше было бы разделить их судьбу. Удержаться на плаву за счет одной только *ойи* заведению удавалось редко. Вступив же на скользкую тропу потакания вкусам широкой публики, остановиться было уже невозможно – и вскоре неплохая, пусть ничем пока и не примечательная, *ойана* вынужденно превращалась в одно из тех мест, куда настоящего *ойати* было нипочем уже не завлечь. Печальная судьба большинства этих добрых начинаний была общеизвестна: *ойу* начинали приготовлять не в *джуми,* как полагается, а в большом общем котле; затем, отвечая запросам случайного посетителя, заглянувшего наскоро перекусить, принимались подавать хрустящие *лати;* в совсем уж плохую погоду соглашались сдобрить чашку *ойи* щедрой добавкой *орго* – хорошего, поначалу. Вскоре *орго* предлагали уже отдельно. Выдержанный, превосходного вкуса напиток, растекавшийся внутри лучистым огнем, мог позволить себе далеко не всякий – и вот уже высочайшего достоинства *орго* из Вакабаси, заботливо выбранный для заведения самолично его владельцем, заменялся и чем попроще – общедоступной местной его разновидностью. Дальше – больше: дешевым *орго* можно было упиться всласть, так что хозяину оставалось лишь наполнять стаканы, да подсчитывать барыши. Вскоре становилось и совсем уже очевидно, насколько подвыпивший посетитель выгоднее разборчивого *ойати,* что весь вечер просидит, погруженный в собственные размышления, с одной-единственной чашкой. Дело было за малым: оставалось выкатить бочку *оки,* настряпать немудрящей закуски – и вскоре уже заведение не знало отбоя от посетителей.

Оки – густого хмельного пойла из перебродивших водорослей *ваппа* – Аши, по собственным его словам, не держал. Мичи, однако, слишком хорошо знаком был с истинным положением дел, чтобы поверить в существование настоящей *ойаны* в подобном месте: посреди захолустья, на задворках Рыночного острова, где нога *ойати* едва ли вообще ступала. Держать здесь *ойану,* не идя на поводу у запросов местной публики, было затеей решительно сумасбродной – во всяком случае, с точки зрения денежной выгоды. Вероятнее всего – думалось Мичи – старик приторговывал, чем придется; как и все кругом, предлагал к чашке *ойе* сушеных фруктов и прочих сладостей, да не забывал, при случае, плеснуть и глоточек *орго.* Хотелось ему считать свое заведение *ойаной* – да и ладно, и пусть его. Настоящую, правильную *ойану* Мичи, конечно, узнал бы сразу, едва заглянув – и сейчас, еще только стоя на пороге заведения Аши, заранее знал уже, что именно ожидает его внутри.

В подобных местах ему доводилось бывать частенько, по случаю и необходимости. Продрогший до костей на промозглом и влажном осеннем воздухе, заброшенный превратностью ремесла на пару *вонт* весельного хода что от собственного жилища, что от ближайшей известной ему приличной *ойаны,* Мичи порою себя ощущал настолько потерянным и уставшим, что понимал: если не сделать, вот прямо сейчас, перерыва на чашку *ойи*, он непременно начнет сетовать на судьбу. Последнего Мичи старался не позволять себе никогда. Все, что происходит сейчас – полагал Мичи – является следствием собственных же его прошлых поступков, решений, выборов, так что и жаловаться здесь не на что. Да и некому, собственно. Бесплодные сожаления и уныние представлялись ему чем-то вроде трясины, от барахтанья в которой чувства притуплялись, а мысли затуманивались – так, что выбраться становилось все труднее, а через какое-то время выхода было и вовсе уже не найти. Даже само понимание, что в

жизни его все может еще стать *иначе,* перемениться – на котором, собственно, только и держался Мичи последние пару лет – в этом вымороченном состоянии казалось блеклым, туманным, лишенным силы. Сохранять собственный дух свободным и ясным полагал Мичи делом важности чрезвычайной. Душевное равновесие в любых обстоятельствах оставляло возможность воспользоваться случайно подвернувшимся шансом, когда буквально одно верное действие, предпринятое в подходящий момент, могло положить конец множеству тревог и печалей. Ясность духа была своего рода ключом, открывающим запертые двери – думалось Мичи, и перед мысленным его взором непременно оказывался иной из тех старых ключей, которыми он любовался порой в лавках древностей. Иногда он и сам казался себе таким ключом: не подходя ни к одной из дверей, что были ему знакомы, он продолжал верить, что где-то непременно должен существовать и замок, который ему – и может быть, только ему-то и соответствует. И даже если это было не так, и судьба его походила на судьбу всех прочих старых ключей – вещиц необычных, затейливых, хоть бы даже ни что и не годных толком – в полной его власти по-прежнему оставался выбор: не заржаветь окончательно, поддерживать в себе эту, пусть и безосновательную, надежду. Хранить, вопреки всему, ощущение предназначения, свое предчувствие смысла; хранить бережно. И что же было лучшим средством подкрепить дух, восполнить силы, вернуть к жизни гаснущую надежду, как не чашка горячей *ойи?* Мичи наспех привязывал лодку, и направлялся, за неимением лучшего выбора, в ближайшее заведение – любое, какое уж есть: согреться и выпить *ойи.*

Позже, закрывая за собой двери подобных местечек, Мичи брезгливо морщился, и в очередной раз давал себе зарок больше никогда не переступать их порога. Стоило лишь отогреться у очага, как первым же делом, едва оттаяв, к нему возвращался хороший вкус – только что, было, промерзший насквозь. Мичи передергивало от царившего здесь гвалта и гомона; от залихватского цыкающего звука, с которым смачно сплевывали на пол табачную жвачку; от въевшейся в самые поры камня и дерева вони; от нестройного, но вполне оглушительного хорового исполнения песен препохабнейшего содержания. Пение это заводилось всякий раз, как очередной гуляка ощущал себя налившимся *оки* до нужного состояния – до того, то есть, в котором он временно не мог уже продолжать пить – и голоса присоединялись к песне, один за другим, набирали силу, пока не захлебывались, наконец, в пьяном гоготе.

Ойу здесь уважали: не существовало, по всеобщему мнению, лучшего средства, когда необходимо было протрезветь поскорее, или же избавиться от мучительного похмелья. Чудодейственное зелье помогало не всегда, и не каждому – кому как везло. Прибегали к нему, однако, охотно, как едва не к последней уже надежде – а потому в подобных местах всегда можно было получить кружку горячей *ойи.* Пределом мечтаний Мичи было усесться со своей чашкой где-нибудь у окна, раскурить трубку… потягивать медленно, не спеша, наслаждаться разливающимся внутри теплом, приветствовать возвращение ясности чувств и мыслей. Совсем замечательно было бы проделать это в уединении и тиши – но обстановка *окайны* ничего подобного не предполагала и близко.

Косые взгляды то и дело обращались к нему от общего стола. Уже и само нежелание Мичи попросту присесть рядом, присоединиться к дружной компании развеселых собутыльников было делом подозрительным – раскуривать же в подобных местах трубку нередко и вовсе было занятием небезопасным. Дело было, разумеется, вовсе не в дыме – царившие в общем зале запахи пота и кислой отрыжки смешивались с кухонными ароматами: прогорклый жир, рыбьи потроха, подгнившие водоросли… Кутаясь в завесу табачного дыма, все это можно было как-то еще пережить – но трубка неизменно притягивала всеобщее напряженное внимание. «Ты эт чо, куришь, шоль? Ученый, поди, а?» Тут же следовало и продолжение: «Слышь, Бохи, ученый

у нас тут – ты прикинь? Трууууубку вон тянет – да ты глянь, ты глянь! Жевать-то, вишь ли, ему не по нраву! Он же это, он как все же не может, он же того – лучше прочих-то, или как? Даааааа, Бохи, а вот мы-то с тобой сидим тут, два простых рыбака – а ведь и пепла из этой трубки его не стоим. А, Бохи?» Ну, и так далее. Назревала стычка – излюбленное развлечение завсегдатаев подобных местечек. Что за радость в пьянке без мордобоя? Заплетающиеся голоса наливались угрозой, отяжелевшие веки вяло приоткрывались, притупившиеся под действием *оки* чувства готовы уже были, казалось, вспыхнуть – кое-кто даже и поднимался было из-за стола, изо всех сил пытаясь удержаться на непослушных ногах.

Серьезного противника, настоящую опасность отважному любителю приключений следовало бы поискать где-нибудь в ином месте: утихомирить здешних завсегдатаев было проще простого. Будучи вовсе не прочь обменяться парой вялых тумаков, тузили они друг дружку без особой злости, обид не держали, да и всякую заварушку, обыкновенно, заканчивали братанием. При некоторой сноровке к братанию можно было перейти и непосредственно, минуя, собственно, потасовку: довольно было ответа спокойного, добродушного, ни в коем разе не содержащего не только мыслей, но даже и слов, что могли бы показаться собеседнику непонятными, не говоря уже – вычурными. Поначалу общение на подобном уровне представляло для Мичи некоторое затруднение; годы на воде, впрочем, кое-чему его научили – так что, густо перемежая отборной бранью незатейливый разговор, да вставляя то и дело принятое здесь «братушка», он даже и с трубкой в зубах сходил за своего запросто. С некоторых пор это стало даваться ему легко – без потери, то есть, драгоценного душевного равновесия. Тем не менее, необходимость тратить с трудом выкроенный себе перерыв на умиротворение *простецов* – вместо того, чтобы спокойно выпить свою чашку *ойи* – неизменно омрачала Мичи все удовольствие, и без того, учитывая обстоятельства, довольно сомнительное.

Так, впрочем, бывало не всегда. Конечно, *окайну,* питейное заведение, найти было всего проще: достаточно, собственно, было лишь оглянуться. Порою же Мичи везло: настоятельная потребность в отдыхе – хотя бы и самом коротком – его застигала поблизости от уютной, чистенькой *оти* – лавочки, торгующей, по преимуществу, всевозможными сладостями. *Оки* здесь обыкновенно не подавали, а потому обстановка была спокойной, почти домашней. За пару медяков в таком месте можно было получить большую кружку горячей *ойи,* с непременно же к ней предлагавшимися сухими плодами *акади* – которых Мичи, впрочем, совсем не любил. Все было хорошо в этих *оти* – жаль только попадались они нечасто, и особенно – в дальних концах Ооли. Мичи давно обратил внимание, что если уж подвернулась ему *оти* – стало быть, неподалеку сыщется и *ойана.* Порою, конечно, сил на поиски *правильного* места не оставалось вовсе; когда всего-то и требовалось, что отогреться у очага, да перевести дух, *оти* оставались, все же, выбором неплохим.

Тем не менее, Мичи, как искреннему *ойати,* больно было видеть, во что превращается священное, утонченное искусство приготовления *ойи* в руках людей, не способных понять ни сути его, ни подлинного значения. Что разухабистые *окайны*, что скромные *оти* подавали, все как одна – для простоты дела, учитывая уровень запросов своих завсегдатаев – так называемую *быструю ойу.* Кое-как размолотая готовая смесь *ишири, йими, сангали и иду* стоила много дешевле, чем те же части, взятые по отдельности. Оставалось, разумеется, только строить предположения, каково было истинное содержание драгоценных составляющих в неоднородном, комковатом, преимущественно бурого цвета порошке, который заливался кипятком прямо в кружке, размешивался и подавался под именем *ойи* в заведениях подобного толка. Даже и *быстрая* эта *ойа,* если только не вовсе уж самая низкопробная, оказывала действие вполне благотворное: подкрепляла силы, возвращала душевное равновесие. Большего, порой,

и не требовалось – и все же для Мичи, сведущего *ойати,* она оставалась лишь бледной тенью настоящего, по всем правилам приготовленного напитка: жалким подобием, начисто лишенным благородной глубины и утонченности подлинника.

Хотя с виду заведение Аши и походило на истинную *ойану,* чудес Мичи не ждал: вероятнее всего, обыкновенная *отти* – пусть бы и не без некоторой притязательности. Это было даже по-своему хорошо. Переступив порог и оглядевшись как следует, Мичи не изменил своего мнения: все оказалось примерно таким, как он себе представлял. Аши распахнул изнутри ставни. Сумеречного света было еще достаточно, но он тут же проворно принялся разжигать и светильники, подвешенные к потолочным балкам. Покончив с этим занятием, он лучезарно взглянул на Мичи:

– Славно же, а? Скажи?

Снаружи домик казался совсем небольшим, коренастым, вросшим в землю едва не по самую крышу. Внутри же помещение оказалось довольно просторным: от входной двери спускались четыре широких ступени, так что потолок находился неожиданно высоко. Под каждым из окон – больше, впрочем, напоминавших бойницы – располагался легкий плетеный столик; на столах – по паре перевернутых ножками кверху стульев. Каменная, добротной кладки стена делила круглое помещение поровну: одну половину и занимало, собственно, заведение – другая же часть, вероятно, была жилой. Удобно – подумалось Мичи, имевшему некоторые виды на собственное будущее, а потому не упускавшему случая приглядеться: где, да как было что устроено. Во всю высоту дальней стены сооружены были полки, уставленные коробками, склянками, свертками, ящичками и всевозможной полезной утварью. Тут же, несколько отступив от стены, прямо напротив входа, помещалась и рабочая стойка – мощное, крепкое, сложенное из булыжников основание, крытое цельнокаменной тяжелой плитой. Прямо внутри самой стойки устроен был и очаг: открытая чугунная решетка вписана в каменную столешницу, а дыму – судя по всему – полагалось уходить в нависающий сверху, тянущийся к потолку медный раструб. Места между стеной и стойкой оставалось немного, но хозяин, при некоторой сноровке, все же запросто мог повернуться, туда-сюда. К стене приставлена была и длинная лестница: до верхних полок не дотянулся бы даже и Мичи, в общем и целом довольно рослый.

Мичи постоял еще немного, осматриваясь, прислушиваясь к собственным ощущениям – и вдруг понял, что и само это место, и гостеприимный его хозяин приходятся ему вполне по душе. Почувствовав себя, наконец, легко и непринужденно, с присущей давнему завсегдатаю *ойаны* ловкостью он взобрался на один из высоких тяжелых стульев у самой стойки, уселся вполоборота, опираясь локтем на прохладную поверхность столешницы, закинул ногу на ногу и ответил уже совершенно искренне:

– А ведь и правда, Аши – славно здесь, у тебя!

Аши, явно польщенный, принялся разводить огонь в очаге. Бойкие язычки пламени запрыгали, выглядывая сквозь чугунные прутья решетки и целыми стаями отправляя веселые искорки к темневшему под потолком раструбу.

– Недурно придумано! – заметил вслух Мичи, кивком указывая на раструб и вытягивая к очагу основательно уже замерзшие на вечернем осеннем воздухе руки. Не упустил он и случая проследить за игрой света и тени на каменных стенах, полюбоваться тусклыми отблесками,

которыми вспыхивала то одна, то другая из бесчисленных склянок, заполнявших полки за спиной Аши.

– А то, Мичи! А то!

Аши немного еще посуетился у очага, поворочал в нем кочергой, и, наконец, разогнулся, заговорщицки подмигнул Мичи и взобрался на высокий стул по собственную сторону стойки. Пару мгновений он довольно точно – и потому весьма забавно – подражал свойственной Мичи манере сидеть, вызвав у того искреннюю улыбку; тут же, впрочем, не выдержал – фыркнул от удовольствия, что шутка его не осталась незамеченной. Подогнув под себя ногу и откинувшись на спинку стула, он сказал:

– Ну, пусть его, погорит. Что ли, пока, покурим?

Такого поворота Мичи, признаться честно, не ожидал. Ему казалось уже, что теперь-то он точно знает, что представляет собою радушный его хозяин – домовитый, веселый, дружелюбный и простоватый. Мичи всегда нравилась эта порода. Порой он искренне завидовал незамысловатому, неунывающему жизнелюбию, исходившему от подобного склада людей, как лучится тепло от растопленного очага. В их обществе было ему легко – он словно бы отдыхал от себя самого: от путаных своих мыслей, смутных переживаний, неуверенного еще понимания, от того постоянного, никогда полностью не покидавшего его напряжения, с которым Мичи пробирался по собственному пути, то и дело терявшемуся, ускользавшему, уходившему из под ног – как незнакомая тропинка, по которой идешь один, в темноте, ощупью. Людям же вроде Аши – думалось Мичи – жизнь будто сама дается с такой непринужденной естественностью, что и задумываться не приходится, словно все с самого начала и так понятно: живи себе, знай, да радуйся.

Частенько приходилось Мичи встречать и поэтичные восхваления *стези простеца*, превозносившейся учеными мужами как образец для подражания, своего рода идеал, к которому полагалось стремиться истинному *искателю*. По их мнению – которое Мичи вполне разделял – достичь восприятия жизни столь непосредственного и чистого, хотя бы даже и в самом конце пути, стало бы достойной наградой за годы размышлений и поисков.

Священная простота, однако, не давалась легко. Извилистый путь, петляя, вел Мичи по кругу – широкому кругу жизни, и следовало честно пройти его весь, теряя и вновь обретая, оступаясь и возвращаясь, чтобы оказаться однажды у истока, в исходной точке, где мудрец оказывается подобен ребенку, а *искатель* ничем не отличается от *простеца.* Путешествию Мичи далеко еще было до завершения. Слишком заметной, отчетливой, да и слишком важной еще оставалась для него эта разница: между самим собой, вечно погруженным в собственные мысли – и людьми того склада, к которым принадлежал, судя по всему, и новый его знакомый. Что было и говорить о прочих, копошащихся во мраке невежества, погрязших в неизбывных своих заботах, обуянных страстишками, ползущих по жизни, будто уткнувшись носами в землю?

Впитав и переварив уже предостаточно книжной мудрости, с некоторых пор Мичи решил, что собственный его *путь* – единственная его забота, а *пути* других никоим образом его не касаются. Предоставив всему идти своим чередом, он больше не испытывал уже возмущения, всякий раз прежде вскипавшего в нем прежде от соприкосновения с грубостью и глупостью человеческой. Тяги к принятой у *простецов* общности, к сплетенью своей судьбы со множеством прочих не находил он в себе совершенно, а потому держался уединения – хотя бы

и внутреннего, единственно возможного при теперешнем его ремесле. Впрочем, не упускал и случая скоротать время в доброй беседе со случайными своими попутчиками: приоткрывался, как створки раковины – то ли в надежде уловить проблеск мимолетной, нежданной мудрости, что мелькала порой и посреди житейского разговора, как падающая звезда в ночном небе, то ли начиная уже догадываться, что драгоценная, бережно хранимая им *отдельность* – только ступенька лестницы, что ведет к истинной *общности*.

Трубок *простецы* не курили. Как-то было не принято.

Табак пополам с прозрачной смолой *орбу*, измельченный вперемешку либо с выдержанными в меду сушеными плодами *акади*, либо – для любителей чего покрепче – с подвяленными на солнце пряными водорослями *юти*, можно было купить на всяком углу. Плотная, вязкая, духовитая жвачка продавалась, обыкновенно, нарезанной уже, для удобства, кубиками размером с *кошти*, в промасленной тонкой бумаге. *Кошти* ей была и цена – за *меру* ровных кусочков в шуршащей обертке. *Меры* хватало на целый день жевания почти непрерывного. Покупая ту же жвачку комком, на развес, выгадать можно было едва ли не вполовину – но, простоты ради, в Городе предпочитали готовые именно свертки, которые повсеместно и прижились.

Жевали в Ооли охотно и много. По первому впечатлению терпкий вкус жвачки, чем бы уж там ни сдобренный, всякому казался вполне отвратительным – однако же приятное действие табака, одновременно расслабляющее и бодрящее, возбуждало желание попробовать снова, и вскоре уже вызывало привыкание крепкое – не ко вкусу и воздействию только, но даже и к самому шороху обертки, к податливой плотности тяжелой смолистой массы.

Привычка к жеванию исподволь укоренилась в Ооли пару поколений тому назад, и повсеместно вплеталась в ткань повседневности, породив своеобразные ритуалы – неизменно, по сути, сводившиеся к проявлению и утверждению все того же братского духа, общности. Разделить кусок жвачки на круг – на всех, то есть, присутствующих; приберечь *братушке* последний кубик, перетерпев соблазн сжевать самому; начиная разговор, протянуть собеседнику, в знак радушия, раскрытый бумажный сверток; желая выразить сопереживание и поддержку, разделить комок смолы пополам, присесть рядом и долго жевать вместе, не говоря ни слова…

В такие мгновения принятое в Ооли с незапамятных времен речение – все, мол, мы капли одного океана – на короткий миг, казалось, обретало ясный без всяких слов, почти ощутимый смысл. На деле же все это подразумевало рты, полные табачной жижи, умение сплевывать которую тонкой и плотной струйкой, особым образом прищурившись, по каким-то малопонятным соображениям считалось признаком мужественности. Впрочем, по столь же неясным причинам жующая табак женщина представлялась более чувственной, а подросток, украдкой пренебрегавший запретом – поскольку жевание табака дозволялось лишь по достижении первой *меры* лет – более взрослым.

В свое время *старейшины* не раз предпринимали попытки избавить заплеванный Город от прилипшего к нему проклятия. Вначале по углам улиц расставлены были изящные плевательницы, которым практичные обыватели довольно быстро нашли применение в домашнем хозяйстве. Тогда жевание во всех общественных местах, кроме заведений увеселительных и питейных, было всецело, самым строжайшим образом запрещено. Застигнутому за жеванием табака посреди улицы полагался день общественных работ – как правило, на уборке тех самых улиц. Тот же, кто имел неосторожность пустить тягучую струю, не позаботившись укрыться от бдительного взгляда служителей порядка, должен был, по замыслу *старейшин*, драить самим

же им и заплеванные мостовые уже и пол-*меры* дней – причем делать это, по возможности, поближе к месту своего проживания. Изощренная эта уловка предназначена была не только усилить влияние наказания – ибо кому же охота размахивать щеткой, словно последний уборщик-*мукки*, прямо под взглядами друзей и соседей? – но и привить нарушителю понимание, что убирает он, в конце концов, не какую-то вовсе чужую, ничейную улицу, а наводит чистоту, можно сказать, у собственного порога.

Борьба шла с переменным успехом. Основной – и довольно неожиданной – сложностью оказалось едва ли не полное отсутствие в Ооли подходящих исполнителей уложения – стражников, что сами не пали бы жертвой всеобщего пагубного порока. Напротив, воздав должное своеобразному воздействию табака, весьма полезному при неспокойном их ремесле, стражники и сами жевали не переставая, сплевывали с удалью поистине молодецкой, отчего неизбежно оказывались связанными с провинившимся узами невидимой *общности*, вынуждавшей их ограничиться, обыкновенно, заговорщицким предупреждением неосторожному нарушителю.

Идея объявить жевание табака в Ооли целиком и полностью вне закона *старейшинами* рассматривалась – но была отвергнута как не соответствующая духу общественного согласия, и способная скорее принести Городу больше вреда, чем пользы. Неизбежное возникновение черного рынка, перераспределявшего в пользу теневых дельцов существенную часть доходов обычного горожанина – равно как и обрастание дурацкой, по сути, привычки романтическим ореолом запретной тайны – никоим образом не входило в их планы.

В итоге *старейшины*, раздосадованные отсутствием очевидного и простого выхода из положения, и успокоенные отчасти слабым, но все-таки ощутимым воздействием запретительных мер, по собственному же их выражению, *плюнули* на безнадежное это дело, решив предоставить окончательное решение вопроса течению времени.

Еще в юности, как то и подобало просвещенному горожанину, усвоив на все лады перепетую в многоразличных источниках, старую и чрезвычайно здравую мысль о том, что «всякое наслаждение в изначальной природе своей чисто и прилично человеку достойному, и нет худа в том, чтобы искать удовольствия, но лишь порабощаться ему не следует, как и того допускать, чтобы счастье твое ценою несчастья ближнего покупалось», сами старейшины новомодной простонародной привычки чуждались.

Ценя, в то же время, приносимую табаком ясность духа, бодрость тела и душевный покой, приверженность они питали к курению его в трубке: тому, то есть, способу, которым изначально и употреблялся табак со времен *Прежнего* еще *Мира* – когда, волею судеб, завезен был в Ооли с далеких островов Умбалати.

Нельзя сказать, что курение не вызывало привычки – однако, в отличие от *простеца*, что, едва сплюнув, начинал испытывать мучительную тягу к новой порции жвачки, человек разумный оставался своему наслаждению господином, предаваясь ему в подходящих обстоятельствах, от случая к случаю, свободной волей выбирая занятию этому, приятному во всех отношениях, подходящие место и время.

«Кто же, будучи в здравом уме – рассуждали *старейшины* – захочет обменять удовольствие столь изысканное, сколь и чистое, на мерзкого вкуса жвачку?»

Народ сделал это, не особо задумываясь.

«Не подобает ли всякому человеку стремиться к подражанию достойному примеру, – полагали имевшие все основания быть довольными жизнью старейшины, скромно попыхивая трубочками, – и не естественно ли, законно стремясь к лучшей жизни, равняться на лучших?»

Кое-где в Ооли попытка раскурить трубку запросто могла обернуться для неосторожного «грамотея» парой незлобивых, однако увесистых тумаков.

Выскочек *простецы* не любили. Что угодно, способное выделить человека из толпы, влекло неизбежные насмешки, подначки, вызывало в исполненной братского духа стае настороженность и враждебность. Оказавшись в подобной среде, всего разумнее было, по возможности, придерживаться принятых здесь порядков – выглядеть неприметно, говорить коротко, оборотами пользоваться простыми, любому понятными. Верхом наивности было бы считать, будто проявление хорошего вкуса, изящных манер и правильной речи послужит завсегдатаям *окайны* добрым примером, заронит в сердца стремление к жизни иной, нежели им знакома. Обстояло дело, скорее, ровно наоборот: в глазах *простеца* незадачливый просветитель оставался надутым выскочкой – кичливым, вычурным, полным высокомерия и спеси, которых ему и полагалось немедленно поубавить.

Впрочем, как бы жестока ни была толпа к отщепенцу, как бы ни противилась всякой попытке вырваться, выйти из под неумолимого влияния *общности,* желающие все таки находились. Как и у *простецов*, у людей просвещенных и процветающих складывались собственные обыкновения и привычки, по которым всякому легко было опознать человека своего круга. Подражание принятым в хорошем обществе порядкам нередко служило *простецу* пробудившемуся, возжелавшему от судьбы лучшей доли, первой ступенькой ведущей наверх лестницы – а также, поначалу, и причиной многочисленных ссадин, шишек и синяков. Так или иначе, одной из первых заметных перемен в человеке, неуверенными шагами пробиравшегося к знанию ли, к мастерству ли, к утонченной ли роскоши мира, в котором чашка *ойи* могла стоить серебряной монеты, а вечер в обществе прекрасной спутницы – и целого золотого, нередко становилось обращение к курению трубки. Позже приходила и манера выговаривать слова полностью, вместо обыкновенного у *простецов* смазанного говора: не *таэ,* а все же *такке;* не *койи,* а непременно уже *кошти.* Отсюда недалеко было и до привычки менять исподнее, да и купальню посещать не только уже перед большими праздниками. Однажды наступал и черед походов в Библиотеку, приобщения радостям высокой кухни, знакомства с правильной, настоящей *ойей* – а соответственно, и встреч с людьми того склада, которых едва ли застанешь в *окайне.* Начиналось с трубки; заканчивалось, при должной решимости, целостной переменой жизни. Старейшины – проигравшие, по большому счету, битву с табачной жижей, а потому вынужденные попросту удвоить плату уборщикам – судя по всему, не столь уж и ошибались в своем понимании человеческой природы.

Аши вытащил откуда-то из-под стойки короткую пузатую трубку и кисет с табаком; подвинул кисет Мичи: угощайся, мол.

Утром еще, собирая все необходимое на день, поглядывая из распахнутого окна – на необыкновенно спокойную для этого времени года поверхность океана, на прозрачное, в легкой, пронизанной светом дымке небо без единого облачка – Мичи подумал, что в такой изумительный день следует курить нечто совершенно особенное. Что именно, он уже точно знал: небольшой запас лучшего среди пробованных им табаков бережно хранился в плоской круглой

медной шкатулке, с плотно завинчивающейся крышкой. Мичи зарылся носом в ее драгоценное содержимое, впитывая будоражащий, пряный, спелый, шероховатый табачный запах. Определенно, воплощенное совершенство! Набил первую трубку, переложил немного – на день – в тисненой кожи кисет.

Позже, покачиваясь в лодке и наблюдая за пушистыми, неожиданно затянувшими небосвод облаками, Мичи насладился сполна сложным многоголосием вкусов, игрою полутонов: табак этот был, можно сказать, живой легендой – и совершенно заслуженно. Пару раз Мичи доводилось уже поделиться этим своим сокровищем с людьми понимающими: перевозка востребована была в Городе, все же, не одними только лишь *простецами*. Наблюдать на лицах случайных своих попутчиков переходящее в подлинный восторг удивление было так же почти приятно, как и курить превосходный этот табак в сладостном одиночестве – так что теперь охотно, с некоторым предвкушением даже, Мичи вытащил свой кисет и протянул его Аши.

Интересно было, конечно, что обнаружится в кисете у самого старика. Мичи еще раз окинул взглядом его заведение; скользнул по более чем скромной одежде хозяина, по смуглому, в сетке тонких морщинок, лицу. Попытался навскидку определить, что же именно приходилось по вкусу Аши – однако же, так ни к какому выводу и не пришел. В кисете у Аши – потертом, явно видавшем виды – могло оказаться решительно, что угодно: и легкая, простецкая смесь, медовая, сдобренная *акади,* и грубо нарубленный, забористый, ядреный морской табак. Равно как и все, лежавшее меж двумя этими полюсами.

Развернули кисеты разом, одновременно. Аши расхохотался первым, а Мичи долго еще сидел, уткнувшись носом в тот же точно самый табак, что предложил и своему собеседнику. Такой же – да только, что казалось уж вовсе невероятным, словно бы немного еще богаче, чуточку глубже, сложнее – но… как? Явно подозревая причину, что привела Мичи в подобное замешательство, Аши просто и коротко объяснил:

– Выдержка, Мичи! Вы-держ-ка! Купил – и того, значит: припрячь, да забудь о нем. Годка на четыре, эдак. А уж как достанешь потом – о, тут старика добрым словом-то и помянешь. Аши, он дело ведь говорит – сам же и видишь, а? Ну, давай, набивай уже. Запах – одно, а и надо же вкус испробовать! Этот-то – не соврать бы – добрую половину *меры* вылежан, как-никак.

Некоторое время они пыхтели трубками молча, то обмениваясь понимающими, заговорщицкими взглядами, то просто разглядывая колечки и спиральки дыма, медленно плывущие, чтобы исчезнуть в темноте медного раструба.

Мичи и раньше слышал о преимуществах выдержки, придававшей хорошему табаку звучание изысканное, особое, раскрывавшее всю полноту его вкуса. Упиваясь редкой возможностью составить собственное свое впечатление, он сосредоточенно прислушивался к незнакомым ноткам, что возникали словно из ниоткуда, превращая и без того лучший среди известных ему табаков в источник наслаждения невозможного, далеко выходящего за пределы прежнего опыта.

– А как ты знал, что я… ну, что я тоже трубку курю? – Мичи решился, наконец, нарушить священную тишину – установившуюся, казалось ему, навсегда.

Аши посмотрел на него снисходительно и внимательно:

– А по тебе и не видно, а? Да и что ж это мы? *Ойу*-то будем пить, или что? И хорош ведь: сидит, да молчит себе – нет, напомнить же старику!

Он склонился под стойку, чем-то там громыхнул и вытащил на стол увесистую, широкую *котту* – бронзовую, украшенную четырьмя тонкими бороздками, одна под другой. Мичи догадывался уже, что пить им предстоит отнюдь не быструю *ойу*. Подмигнув ему и отвернувшись, Аши принялся оценивающим взглядом изучать содержимое своих полок; трубку при этом не выпускал – так и держал в зубах. Пару раз он тянулся за определенной склянкой, открывал, принюхивался и ставил на место, бормоча себе под нос: «Не то! Не то!» Наконец, воскликнув довольно: «Ага!», он быстрыми движениями, одну за другой, снял с разных полок и выставил на стол перед Мичи четыре совершенно не похожие друг на друга емкости: видавший виды глиняный горшок, пузатую стеклянную банку с притертой пробкой, маленький скомканный сверток промасленной бумаги и медную шкатулку, изукрашенную тонким узором из переплетающихся, переходящих одна в другую спиралей – вроде той, что служила Мичи для хранения табака.

– Вот! – приглашающим жестом Аши указал на свою добычу – давай, не стесняйся.

Мичи взвесил в ладонях прохладную тяжесть *котты*, провел пестиком по внутренней ее окружности, медленно ускоряя движения – и получил мелодичный, глубокий, таинственный ровный гул. Ступка была вещью определенно древней – и весьма не простой. Не чувствуя более необходимости сдерживать разгоравшееся любопытство, Мичи принялся открывать банки одну за другой, разглядывая их содержимое, принюхиваясь, касаясь кончиками пальцев, бережно растирая. Каждая из составных частей *ойи* была прекрасна по-своему. Розоватое корневище *ншири*, сухое и легкое, как пух, крошилось в мелкую пыль при малейшем усилии. Соцветия *йими*, обыкновенно блеклые, слипшиеся в комок от долгой морской перевозки, лежали в медной шкатулке одно к одному, и были такого насыщенного цвета – оранжевого, в коричневых веснушках – словно бы лишь мгновение назад сняты со своих стебельков. Откупорив горшок с листьями *сангали*, Мичи даже отпрянул: в нос ему так пахнуло переспелой, прелой сладостью, что потребовалась пара мгновений, прежде чем он решился продолжить свои исследования. Аши не упустил случая хихикнуть:

– Неожиданно, а?

Настоящей, впрочем, неожиданностью, был не запах хороших *сангали* - с которым Мичи, если уж быть откровенным, все же знаком был не понаслышке – но именно собрание столь превосходного качества составляющих в этой маленькой, никому не известной *ойане*, затерянной посреди трущоб Рыночного острова.

Любому – думал Мичи, разглядывая маслянистые орехи: крупные, тяжелые, сморщенные, покрытые белым налетом, свидетельствующим о прекрасном их состоянии – любому может повезти на базаре. Только ведь одно дело – купить, по случаю, сверток приличных *иду* – он аккуратно завернул шуршащую бумагу и потянулся к оставленной на столе, успевшей угаснуть трубке – а вот собрать все четыре части, да чтобы такого качества, да и так одну к другой еще подобрать… О, Аши определенно понимал толк!

Старик поставил на решетку очага *буртху* – глубокую чугунную сковороду с потемневшими деревянными ручками, до середины наполненную тончайшим белым песком. Снова исчезнув под стойкой, он извлек небольшой предмет, завернутый в кусок мягкой ткани – судя

по всему, окончательно отслужившей свое накидки – и бережно поставил поближе к Мичи. Внутри был, конечно, *вайгни*: ровная серебряная полусфера, не только лишенная каких бы то ни было рисунков и украшений, но и – в силу очевидного совершенства формы – совершенно в них не нуждавшаяся.

Наконец, Аши отломил кусочек корневища, положил в ступку, слегка размял пальцами и принялся растирать пестиком. Пару раз встряхнув *комту,* он удовлетворенно кивнул, пересыпал ее содержимое в серебряный *вайгни* и потянулся за цветком *йими* – той составляющей, что отвечает в готовом напитке за самые свежие, самые яркие и легкие нотки.

Как поговаривали знатоки, одну *ойу* нельзя приготовить дважды. Едва заметно меняя соотношения, мастерам удавалось создать невероятное разнообразие вкусов и настроений. Различали *ойу* нежданной радости и *ойу* светлых воспоминаний; темную *ойу* желания и томительной страсти; *ойу* окончательного решения и *ойу* доброго начала – бодрящую, отрезвляющую; мрачноватую *ойу* забвения; *ойу* неспешных раздумий; прозрачную *ойу* ясного понимания; *ойу* расставания с прошлым; *ойу* прощания с несбывшимся; *ойу* беседы, затянувшейся до утра – перечисление могло продолжаться до бесконечности, и ни для одной смеси не существовало сколь бы то ни было точного рецепта.

Искусство *ойадо* было неточным, уклончивым, неопределенным, и старательно ускользало от всякой попытки приведения в стройный порядок. Обучиться ему напрямую было решительно невозможно. При желании, всякий мог отправиться на рынок, приобрести подходящую посуду и все составные части, произвести необходимые, хорошо известные действия. Вкус *ойи,* однако же, оставался изменчив, как форма облаков – и непредсказуем, как путь их по небосклону.

Единственным способом – если первые попытки не оказались уж вовсе провальными – оставалось и дальше двигаться по наитию, исследуя неочевидные связи между собственным состоянием и полученным результатом, бережно сохраняя в памяти не столько даже опробованные пропорции, сколько нюансы своего настроения. Секрет был прост: *ойа* отвечала и соответствовала содержанию текущего мгновения. Она готова – и предназначена была – стать именно тем, в чем нуждался человек прямо сейчас; *ойадо* оставалось лишь помочь удивительной ее природе проявиться в мире вещей – и, по возможности, устраниться с пути, предоставив ей *течь*. Более или менее внятным образом, помогающим понять роль человека в происходящем чуде, было сравнение с руслом, каналом, а то даже и с водосточным желобом: задавая потоку форму и направление, *ойадо* следовало оставаться пустым, не создавая помехи течению.

Добившись более или менее устойчивого результата в уединении, можно было – и полагалось даже – совершенствовать мастерство в обществе близкого человека, позволяя взаимным переживаниям расширять многообразие возможных вкусов. Освоившись же и с этим, непременно стоило обратиться к опыту мастеров – продолжения пути ради. Вкушая изысканную *ойу* в исполнении признанного *ойадо,* оставаясь сосредоточенным и внимательным, можно было надеяться – сонастроившись должным образом – отчасти перенять толику искусства, что позволяет создавать шедевры дивного вкуса и потрясающей силы. Помощь наставника могла быть неоценимой – *ойа,* однако же, с каждым выстраивала особые отношения, всякому открывалась по-своему. Стороннее вмешательство оказывалось, порою, весьма полезным – но искателю подлинно глубоких переживаний полагалось, прежде всего, всячески углублять собственную свою связь с *ойей,* шаг за шагом, на личном опыте, постигая таинственную ее природу. Связь эта, даже поддерживаемая на протяжении многих лет, оставалась исключительно тонкой: потерять ее было легче легкого, так что порой *ойати* не раз оказывался вынужден начинать

весь путь заново, едва ли не с самого начала. *Ойа,* сама по себе, никоим образом не удерживала, не привязывала к себе человека: скорее, благосклонно позволяла ему прикоснуться к подлинному чуду, заключенному то ли в ней самой, то ли в сердце искреннего искателя – впрочем, всего скорее, волшебство это и рождалось прямо по ходу взаимодействия их, напоминавшего то ли сложный, замысловатый танец, то ли попытку стихосложения на едва знакомом автору языке. Так или иначе, в любое мгновение *ойати* был волен остановиться и прервать странную эту связь, выбросить из головы всякий вздор и посвятить себя занятиям попроще – да и много, в житейском смысле, полезнее – порою, при случае, обращаясь разве что к *быстрой ойе* - замечательно, кстати, дополняющей вкус жевательного табака.

Наблюдать за *ойадо* всегда было для Мичи источником особого удовольствия. Он давно уже понял, что попытки научиться чему-то из подобного наблюдения действительно были занятием безнадежным. Необходимые действия, сами по себе, были не слишком замысловаты – да и хорошо уже им освоены, а все самое важное происходило всегда внутри, незаметное стороннему глазу. Подлинный талант, любовно переплавленный в мастерство годами опыта и размышлений, являлся в деле *ойадо* условием необходимым и достаточным, не поддающимся ни подражанию, ни прямой и непосредственной передаче. В то же время, простое пребывание в присутствии хорошего мастера оказывало на Мичи воздействие необъяснимое, но заметное: не раз возвращался он домой из какой-нибудь старой *ойаны,* исполненный восхищения и растроганный, разводил огонь под собственной *буртхой,* и так, на волне свежего вдохновения, не раз удивлял и превосходил самого себя, открывая все новые грани в своем постижении *ойи,* углубляясь в древнее это искусство – и не переставая, однако же, сомневаться в наличии у себя истинного призвания.

Путь *ойати* оставался путем изысканных радостей, утонченного наслаждения; судьба *ойадо* требовала глубочайшей отдачи и посвящения – но для подлинного успеха на этом поприще не достаточно было усердной работы или внимательного ученичества. *Ойа* будто сама выбирала тех, кто годился быть ей в мире проводником, доверенным представителем; какое-то неуловимое, неопределимое качество требовалось ей в человеке, дабы раскрыться во всей своей полноте. Стать неплохим *ойадо,* при желании, мог любой; занятие это было вполне востребованным, и позволяло свести концы с концами уж всяко не хуже ремесла перевозчика – *ойа,* однако же, казалась Мичи явлением столь особенным, столь драгоценным и значимым, что связать с ней свою судьбу он готов был не раньше, нежели доподлинно убедится, что именно таковы настоящие путь его и призвание.

Лицо Аши приняло выражение торжественное, немного даже отсутствующее. Измельчив около половины благоуханного листа *сангали*, он открыл сверток с сердцевинами *иду*, прямо на бумаге расколол одну из них пестиком, выбрал подходящего размера кусочек, раздробил его в ступке, стараясь не стучать слишком сильно – то ли чтобы драгоценные крупинки не выскакивали наружу, то ли чтобы не нарушать обволакивающей, ластящейся, едва устоявшейся тишины. Перемешивая в *вайгни* готовую смесь всех четырех составляющих, он слегка подбрасывал и просеивал ее кончиками пальцев, пока не решил, что *ойа* достаточно подышала, и кивком предложил Мичи насладиться ароматом.

Конечный вкус ойи, по поводу которого Мичи обыкновенно легко мог высказать предположение, еще только ознакомившись с исходными составляющими, обещал быть невероятным. Обхватив ладонями чашу, Мичи долго вдыхал нежный, будоражащий запах. Наконец, собравшись с силами, он оторвался от *вайгни* и протянул его Аши. Тот принюхался, втягивая воздух резко и коротко, недоверчиво хмыкнул, бросил на Мичи быстрый оценивающий взгляд

и потянулся за *джуми*. Высокий медный сосуд с двойной тонкой ручкой, испещренный узором из бесчисленных впадинок, показался Мичи великолепным. По щепотке, чуть растирая пальцами, Аши пересыпал в него большую часть готовой смеси; наклонив *вайгни*, собрал до последней пылинки остаток. Вытащив глиняный кувшин с узким высоким горлом, вливал тонкой струйкой воду, приподнимая сосуд все выше над горлышком *джуми*, пока тот не наполнился почти доверху.

Несколько раз похлопав ладонью по донышку *джуми,* Аши поставил его на жаровню, до половины утопив в успевшем уже хорошенько прогреться песке. Прикурив трубку от яркой головешки, взятой из очага, он пару раз пыхнул, ухватил *джуми* за рукоятку и принялся медленно выписывать в песке спирали: расходящиеся и сходящиеся.

Джуми завел свою песню: глубокая, гулкая первая нота перешла в дробное потрескивание, слившееся понемногу в ровный, звонкий, высокий звук, который становился, по мере закипания, все приглушеннее, ниже – пока, наконец, замерев на мгновение, *ойа* не рванулась вверх густой шапкой пены, с шипением – быстрым, яростным. Мичи прислушивался к древней этой музыке, наблюдая за размеренными движениями *ойадо,* сосредоточенно выпуская маленькие, частые, медленно плывущие над столом завитки дыма. Аши дождался последнего из возможных мгновений, когда пенка поднялась так высоко, что готова была вот-вот уже свеситься через край *джуми,* в этот миг находившегося – Мичи оценил мастерство – точно посередине жаровни, в сердцевине последней спирали; ловко приподнял сосуд над песком и слегка постучал донышком о столешницу.

– Гляди, как поймал это я ее, а? То-то же!

Возвышенная сосредоточенность Аши, похоже, уступила место обычной его задорной живости. Успевая нарисовать донышком закипающего *джуми* спираль, с каждым разом все меньшую, и все так же ухитряясь поймать самый, что ни на есть, распоследний миг, он повторил процедуру четырежды, поставил сосуд на стол и принялся рыться на полках в поисках подходящих чашек.

Ойу не следовало пить только что снятой с огня. Горячей – да, наслаждаясь игрою вкусов, что разворачивалась по мере ее остывания – но не кипящей, и уж ни в коем случае не холодной. Аши поставил перед Мичи две глиняные чашки без ручек. Одна снаружи была терракотовой, а внутри – светлого песочного цвета; другая – угольно-черной, с облачно-белой внутренностью. Готовую *ойу* Аши разлил поровну, добавляя понемногу то в одну, то в другую чашку, покуда каждая не наполнилась.

Мичи выбрал себе терракотовую. Представив *ойу* сторонам света и легко поклонившись Аши, он сжал чашку в ладонях, вдохнул поднимавшийся над ней умопомрачительный запах и осторожно сделал маленький первый глоток. Он не раз уже слышал истории, казавшиеся ему небылицами; не пробовал сам, не надеялся даже; не знаком был ни с кем, кому довелось бы ее отведать – однако узнал этот вкус сразу, и знание было несомненным, точным, определенным. Аши только что приготовил *ойу сплетения судеб*.

Отведать *ойи сплетения судеб* можно было столь же часто, как повстречать в мире искреннюю дружбу и подлинную любовь. Как и всякую *ойу*, ее невозможно было приготовить намеренно – Мичи было хорошо известно, что ни один *ойадо* не мог заранее с точностью знать, что выйдет в итоге, что именно у него получится. Мастерство позволяло всякий раз создавать

шедевры непревзойденного вкуса – но одного мастерства было недостаточно. *Ойа*, как и полагается всякому чуду, случалась. Она происходила. Она была тем, чем единственно и могла: всей полнотой мгновения. Она словно бы обнаруживала и заполняла пустоты – возвращала утраченный покой, восстанавливала угасшие силы, воскрешала надежды, робкому придавала смелость, потерянному подсказывала направление. Она будто привносила то, чего недоставало здесь и сейчас, позволяя *ойати* пережить волшебный миг законченного совершенства. Происходящее отражалось в ней, словно в зеркале – и зеркало это все на свете показывало ровно таким, каким оно и являлось на самом деле. Подобно тому, как тьма исчезает, стоит зажечься свету, *ойа* устраняла всякую кажимость: важные вещи открывали подлинное свое значение, а всякая суета прекращалась сама собой, поскольку в ней больше не оставалось ни малейшего смысла. Точнее, переставала казаться суетой: бесконечность и полнота бытия включала в себя, не теряя ни капли величия, и глупость человеческую, и гордыню, и страсти, и борьбу, и погоню, и мерцание звезд, и рыбу, плывущую в глубине, и рыбака в лодке, и огонь в очаге, и стук молотка в мастерской, и старость, и дырявые башмаки, и сушеный *акади,* и шелест страниц – всему находилось место, все было приемлемо, все – значимо, все – правильно, все – в самое это мгновение – совершенно. Предлагая взгляд с точки зрения вечности, *ойа* не давала прямых ответов: она указывала путь. Она не была знанием – она была истиной.

И когда чьи-то отдельные, казалось бы, жизни, в действительности составляли – или должны были, предназначены были составлять единое целое – она становилась *ойей сплетения судеб*. Она не меняла порядка вещей; лишь открывала его, свидетельствуя об истинном положении дел ясно и недвусмысленно, утверждая и подтверждая.

Часто влюбленные пары, не понимая подлинной природы *ойи сплетения судеб,* но вполне очарованные уже одним только звучанием ее имени, да наслушавшись, к тому же, сказочных историй, наделявших ее волшебным свойством соединять отдельные жизни в вечности, приглашали известных *ойадо* с просьбою приготовить для них этот напиток, способный стать высшим благословением их союза, наилучшим из добрых предзнаменований. Того же, в попытке вернуть утраченную, стершуюся с годами свежесть и яркость чувств, искали и люди, прожившие долгую жизнь бок о бок. Цена, что в таких случаях с готовностью предлагалась за чашку *ойи*, могла доходить и до полного золотого; впрочем, ни малейшей гарантии успеха в подобном деле не было, да и быть, по определению, не могло. Вероятность нарваться на самозванца или мошенника была достаточно высока – впрочем, хороший *ойадо* непременно пытался сразу же объяснить очевидную для него причину затруднения, настаивал на полном и окончательном вознаграждении лишь по завершении дела, и брал за саму попытку не больше серебряной монеты. В его власти, в конце концов, было лишь честно выполнить свою часть работы – и отойти в сторону, устраниться, предоставляя *ойе* случиться ровно такой, как сама она посчитает нужным.

Принимая подобные приглашения, мастера привычно уже настаивали на плате вперед: *ойа желания* была частой гостьей таких церемоний. В таком случае *ойадо,* уже получившему честно заслуженный *кошти*, оставалось разве что вежливо удалиться, предоставив влюбленным наслаждаться обществом друг друга – и удалиться, желательно, поскорее. Вкусив *ойи желания,* влюбленные вскоре переставали уже не только придавать значение присутствию постороннего человека, но едва ли даже и замечали его. *Ойаны* выходили из положения с помощью особых комнаток для уединений; за небольшую плату они предлагались в подобных случаях посетителям – деликатно, но порой весьма настойчиво – ибо для выпивших темной *ойи желания*, поглощенных и захваченных водоворотом чувств, на какое-то время в мире не существовало уже ничего, кроме объекта их страсти.

Волшебные искорки вкуса *ойи восторга и восхищения;* спокойная глубина *ойи понимания и согласия,* драматично перемежающаяся в сложной гармонии горечь и сладость оттенков *ойи постижения противоположности* – часто именно так проявляла себя *ойа*, открывая любящей паре истинную природу их отношений.

В тех случаях, когда вспыхнувшим чувствам не суждено было длиться, в силу неглубокой их, мимолетной природы, изящная легкость *ойи полноты мгновения* становилась не только прекрасным утешением, но и счастливой возможностью насладиться очарованием встречи, не отягощенной невозможным, а потому совершенно излишним будущим.

Светлая печаль, присущая вкусу *ойи окончательной завершенности,* становилась роскошным прощальным подарком тем, чье время быть вместе подошло к естественному своему концу, а путям отныне суждено было разойтись. Оставив, наконец, обиды и взаимные требования, мучительную борьбу и несбыточные надежды, приняв неизбежное расставание с легким сердцем, можно было заново, напоследок, ясно увидеть все лучшее друг в друге – предаваться счастливым воспоминаниям до самого утра, и распрощаться тепло, на целую жизнь бережно сохраняя в сердце драгоценные, вместе прожитые мгновения.

Ойа тающей нежности – вот чего в действительности искали все эти пары. Если бы она не случалась почти столь же редко, как и *ойа сплетения судеб*, и не требовала в приготовлении мастерства, исключавшего, как таковую, даже саму возможность подделки, ее легко было бы выдать за ту – желанную, загадочную и обросшую легендами, как обрастает ракушками днище старого корабля. Она словно была самой любовью, во всей первозданности и полноте: во вкусе ее животная страсть удивительным образом сплеталась с искренним уважением, а слепое восхищение перетекало в глубочайшее понимание – по пути не теряя ни капли. *Ойа тающей нежности* заключала в едином мгновении спокойную теплоту пройденной рука об руку жизни и восторг первых встреч, радость познания и мудрость принятия, горечь размолвок и сладость примирений, тревоги житейские – и уверенность, что одно-на-двоих бытие вполне самоценно, и каким-то непостижимым образом служит ответом всякой невзгоде. Она сглаживала острые края противоречий и окружала пару словно стеной легкой дымки, ограждающей их собственный мир, очерчивающей нечеткие, расплывчатые его границы.

Обволакивающая, мягкая, теплая нежность обрушивалась внезапно, переполняла и затопляла – и отведавшим этой *ойи* оставалось разве что молча сидеть, держась за руки, так что и разорвать это прикосновение, и даже отвести взгляд представлялось решительно невозможным. Попытка в такое мгновение выразить нахлынувшие чувства словами неизменно обнаруживала полнейшую свою несостоятельность – но и это было делом, скорее, забавным, лишенным всякой неловкости. Смущенная улыбка неизменно встречалась всеобъемлющим пониманием, сквозящим во взгляде, тонула в улыбке ответной, встречной; признания оставались невысказанными – и все же услышанными, а разделенные чувства будто перетекали меж людьми напрямую, как вода в сообщающихся сосудах, не нуждаясь более в помощи слов: только тишина, и *тающая нежность*, и молчаливое единение.

Можно было бы сказать, что *ойа тающей нежности* растапливала сердца, сплавляла их в единое целое – правда же заключалась в том, что *тающая* эта *нежность* была качеством, присущим самой лишь паре – никак не *ойе.* Как и всякая хорошо приготовленная *ойа,* та лишь открывала истинную природу вещей, обнаруживала подлинное значение событий, указывала на возможности, неочевидные или скрытые – и, позволяя проявиться тому, что есть, по сути,

ничего не добавляла и не меняла. Так что, как бы свято ни были уверены в обратном влюбленные, и *ойа сплетения судеб* в действительности тоже ничего не сплетала.

Мичи прикрыл глаза – и не открывал долго, перекатывая *ойу* на языке. Когда же он, наконец, поднял взгляд, то обнаружил Аши, смотрящего прямо на него с веселым прищуром. Тот явно понимал, что же, собственно, происходит: некая особая сдержанность, торжественность даже, так и проглядывала сквозь эту его вполне расслабленную манеру держаться.

– Понял, а?

Мичи молча кивнул. Вопросы роились в его голове; говорить, однако же, совсем не хотелось.

– Пока что – попьем, да? Поговорить-то, оно того – всяко еще успеется.

Аши поднял свою чашку, поднес к лицу – поближе, чтобы как следует рассмотреть цвет и вдохнуть аромат напитка; сделал глоток. Мичи последовал его примеру, осознавая, что испытывает нечто невообразимое: вот он сидит за каменной стойкой старой *ойаны*, держит в ладонях чашку густого, горячего напитка – и в то же самое время, каким-то непостижимым образом, совершенно отчетливо присутствует в чашке *ойи*, будто бы сам превратился в одну из ее составных частей. Да, вкус *ойи* определенно содержал столь глубокое понимание его сущности, да еще и выражал его так непосредственно, что Мичи, посвятивший попыткам в себе разобраться годы, полные сомнений, размышлений, догадок и случайных открытий, привыкший считать это захватывающее занятие – весьма, к тому же, далекое от завершения – главным делом своей жизни, прямо таки задохнулся от неожиданности. На короткий миг ему показалось даже, что так – нечестно, нельзя, не должно быть: слишком это легко, слишком просто. Он чувствовал себя подобно человеку, впервые увидевшему свое отражение: все, что было знакомо прежде разве что лишь на ощупь, а то и с чужих слов, внезапно предстало взгляду с полной определенностью, не оставлявшей больше простора воображению. Впрочем, внимание его не задержалось на этой мысли, и тут же вернулось к невероятному откровению, разворачивающейся перед ним тайне. *Ойа* была им, он – ею.

Сделав еще глоток, Мичи обнаружил, что помимо собственной его сокровенной сущности, словно бы растворенной в напитке, *ойа* явно содержала и еще кое-что. Законченный, целостный вкус ее словно бы состоял из двух половин – и другая, необъяснимо и явственно, выражала Аши, передавала саму его суть, представляла ее совершенно особым потоком образов. Вкусы не смешивались, но ощущались каждый в отдельности, хотя и одновременно. Они звучали, как две мелодии – не перебивая друг друга, но в то же время, и не сливаясь в одну. При желании можно было сосредоточиться на любой из них, следовать за всеми ее оттенками, почти перестав ощущать другую – чтобы через мгновение, без малейших усилий, переключиться уже к иной, а то и чувствовать сразу обе: это было немыслимо и прекрасно.

Вкус *ойи сплетения судеб* разворачивался чередою образов, будто всплывающих из ниоткуда – и каждый из них казался законченным, завершенным, пригодным для жизни миром. Мичи прислушивался к себе, растворенному в этом вкусе – будто перелистывал страницы волшебной книги, и каждая повествовала о нем, выхватывала ту или эту его черту, приоткрывала одну его сторону за другой, и не было конца этому погружению в собственную глубину. Мичи представал вкусом туманного утра, запахом прелой листвы, старых книг в потертых кожаных переплетах и мокрой шерсти. Он был каменной лестницей, ведущей в прохладу древнего под-

земелья, сырым осенним ветром, далекими огнями в ночи, потемневшей от времени бронзой, теплым отпечатком закатного солнца на кирпичной стене, одиноким ударом колокола, обрывками смутно различимых голосов, что вплетаются в дрему жаркого летнего полудня… Вкус Мичи был извилист и сложен: он петлял, словно лодка, идущая к берегу меж камнями; ускользал, становился едва различимым – и опять набирал мощь, сгущался, наполняясь какой-то тягучей плотностью, тяжестью, глубиной. Мичи узнавал себя все отчетливее. Он с некоторой растерянностью осознал, что постижение себя через привычный ему, да единственно и знакомый прежде путь размышлений неизбежно сводилось к попытке себя описать, обозначить, как-то определить – и путь этот неизбежно водил его кругами, раз за разом возвращая в исходную точку. Как становилось вполне очевидно в свете только что пережитого откровения, дорога эта не вела, да и никак не могла привести его к желанной цели. Все было бесконечно сложнее и проще. *Ойа* без единого слова открывала его сущность, и сущностью этой оказался – Мичи вдруг понял, что снова может мыслить более или менее связно – беспрестанный, неудержимый поиск некоторой вечно ускользающей точки неустойчивого равновесия. Даже нет, не так – он и был самой этой точкой, в которой сходилось все множество линий напряжения, что связывают противоположные полюса его жизни.

Неприхотливый едва не до аскетизма, Мичи – в то же время – был откровенно жаден до простых радостей жизни. Он находил утонченное наслаждение в своем одиночестве – и тянулся к подлинной близости, полагая жизнь, замкнутую в себе, по определению неполноценной, лишенной чего-то бесконечно важного: самого, что ни на есть, главного. Превыше всего на свете ценил он душевный покой – но готов был запросто лишиться его в погоне за ярким переживанием – глубоким, подлинным, словно бы драгоценный покой служил ему мелкой разменной монетой. Он вел размеренную, вполне оседлую жизнь, мало-помалу создавая вокруг себя уютный мирок, обрастая милыми сердцу привычками и вещами – и не переставал при этом ощущать себя странником, сделавшим лишь короткий привал в своем путешествии безо всякой конечной точки. Порою, по случаю и настроению, он писал длинные, содержательные, поэтичные письма, адресуя их *Мичи времен поздней осени* – тому самому, с древней мозаики в *ойане* Урсиа – и легко обходился, однако же, в повседневном своем общении едва *полной мерой* слов; хорошо еще, если хоть половина их могла быть употреблена в приличном обществе.

И без того чуждый крайностям, Мичи со всей ясностью понимал теперь, что никогда и не смог бы пристать ни к одному из этих берегов окончательно – как не смог, несмотря на вполне искренние свои попытки, всецело принять прибежища ни одного из течений мысли, известных в Ооли. Порою, устав от всей этой сложности, он испытывал потребность в покое, который любая определенность даровала бы ему охотно и щедро – и не раз решал начать новую жизнь, в которой все, наконец уже, будет простым, понятным и однозначным. Отказываясь от одной своей части в пользу другой, делая очередной решительный и окончательный выбор, на некоторое время он обретал то, что казалось ему желанным равновесием – однако было, напротив, смещением равновесия: перекосом, как выразился бы он сам. Цельность же его, молчаливая глубинная суть – растянутая меж полюсов, словно гулкая тугая струна – перекосов, конечно же, не терпела; всякий раз Мичи вскоре вновь обнаруживал себя в той самой точке, где – как он только теперь неожиданно понял – ему и следовало находиться: между.

Он был кораблем, которому не светила приписка ни в одном порту – и счастье его, как начинал он понимать теперь с облегчением, в том-то и заключалось, чтобы попросту оставаться в пути: бороздить океан, бросать ненадолго якорь то там, то здесь, принимать на борт товары и пассажиров – чтобы вскоре поднять паруса, да и отправляться уже к другому концу света; но и того – коснуться лишь, да и расстаться легко со всем, взятым на борт, без сожалений, без

горечи; подлататься, быть может – и сразу же снова в путь, в открытое море, не сопротивляясь ни судьбе своей, ни природе.

Так звучала партия Мичи в *ойе сплетения судеб* – но сколь бы многое ни открылось ему, какими понятными ни казались отныне и путь, и сама его сущность, было еще кое-что. Вкус *ойи*, выражавший всю полноту жизни Мичи, оставался подчеркнуто незавершенным, как вкус только что приготовленного *нимиру*.

Сложный салат *нимиру*, легенду столичной высокой кухни, готовили из пряной водоросли *агули*, сладких орешков *патту*, волокнистой сердцевины стеблей *авага* и сушеных плодов *вигу* под соусом *аламакати.* Соус этот продавался на вес серебра и доставлялся купцами с далеких островов Каведочи – надо ли добавлять, что рецепт его веками составлял бережно хранимую тайну? Особенность же салата *нимиру* заключалась в том, что вкус его, после того как все составные части соединялись, весьма ощутимо менялся с течением времени. Слишком резкий, грубый, почти непригодный в пищу сразу после приготовления, уже за время, достаточное, чтобы выкурить небольшую трубку, он начинал приобретать консистенцию и вкус более нежные, сглаженные. Чуть выдержанный *нимиру* вполне подходил в качестве легкой, но питательной закуски – однако, оставленный в подходящих условиях – то есть в месте прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом – набирал такой глубины и сложности вкуса, претерпевающего драматические перемены от терпкости к утонченной сладости, что употреблялся уже почти исключительно в качестве десерта. Именно такого рода незавершенность – когда все составные части собраны уже вместе, и лишь времени остается сделать свою работу, сплавляя их воедино – и присутствовала в той части вкуса *ойи*, что соответствовала Мичи.

Что же касается другой половины – той, которая выражала Аши – свежего салата *нимиру* не напоминала она и в самой малейшей степени, будучи совершенно законченной. Мичи, полагая подобную завершенность далекой своей целью, часто задумывался: какова она, и на что похожа – и вот, наконец, получил возможность в буквальном смысле отведать ее на вкус.

Завзятый охотник до всяческих редкостей, Мичи легко узнал это чувство, знакомое по наиболее удачным его набегам на лавки старьевщиков: точно так же ощущал он себя, когда среди великого множества разнообразных предметов встречалась ему вещь особая – не самая непременно красивая, не обязательно драгоценная, изысканная или уж очень древняя, но, так или иначе, обладающая неким невыразимым качеством, определить которое иначе, как совершенство, Мичи не мог. В такие моменты у него всякий раз перехватывало дыхание: волна трепета, восхищения, изумления, радости узнавания поднималась в нем, окатывала с ног до головы, захлестывала и, схлынув, оставляла, растерянного и ошеломленного – легкую добычу для наблюдательного и предприимчивого торговца. Со временем Мичи, чья платежеспособность безнадежно отставала от эстетического чутья, научился ни единым словом, ни намеком, ни жестом не выдавать истинного своего состояния – что, очевидно, сберегло ему немалое количество серебра. Он до сих пор не мог сдержать улыбки, вспоминая, как выторговал за пару монет столь им любимый *джуми*. Кроме того, узнал он о совершенстве еще кое-что: порою, держа в руках вещь явно особенную, испытывая то самое, волшебное, знакомое уже чувство, он вдруг – неожиданно для себя – понимал, что предмет этот, по той или иной причине, не был ему предназначен – сколь бы ни был он удивительным, как бы определенно не ощущались подлинные его красота или ценность. И так же, как выбирал правильные, настоящие вещи среди множества безделушек – всматриваясь, прикасаясь, вдумчиво как бы взвешивая – Мичи и между ними учился искать свои, составлявшие с жизнью его гармоничное целое, связанные с его внутренней сущностью нитями таинственного сродства; приучился и спокойно отклады-

вать остальные – возвращать торговцу, насладившись сполна самим уже прикосновением к совершенству, радуясь и просто существованию, присутствию его в мире, и собственной способности узнавать его, отличать, почти уже безошибочной.

В отличие от собственного его вкуса – туманного, витиеватого, многослойного – приоткрывшаяся ему сущность Аши была проста. Она словно бы и была самой простотой, в самом чистом ее виде: ни убрать, ни добавить. Простота эта, однако, была особого рода – как если бы все богатство опыта, все разнообразие впечатлений, вся глубина размышлений и сложность переживаний были неведомой силой спрессованы в некий монолит, сплавлены в единое целое, совершенная полнота которого, подобно вкусу *ойи*, не только вбирала в себя лучшие качества составных частей, но и представляла собой нечто большее, чем простое их соединение. Целостный вкус готовой *ойи* невозможно было разложить на отдельные составные части – однако, сама эта слитность легко позволяла судить и о качестве составляющих, и о мастерстве *ойадо*. Исходное сырье, пошедшее на приготовление Аши, было, безусловно, отменным – но конечный итог содержал отпечаток искусства, граничащего с волшебством.

Мичи задумался было о природе чудесной силы, способной произвести в человеке перемены такой глубины: определенно, время играло здесь важную роль, но было и что-то иное – то ли неуловимое, то ли пока вообще ему неизвестное, лежащее за пределами его жизненного опыта и способности к пониманию; тут же решил, однако, что возможность поразмышлять обо всем как следует у него еще непременно будет, и вернулся к прямому и непосредственному восприятию.

Ойа не вызывала видений и не рассказывала историй. Она разговаривала оттенками вкуса, имевшими удивительное свойство рождать яркие и ёмкие образы. Образы эти не приходили извне, а всплывали из глубин памяти, сплетаясь порой в удивительные цепочки, построенные из оживших воспоминаний – *ойа* говорила с каждым на собственном его родном языке, особом языке уподоблений, сравнений и переносных смыслов, знакомых и понятных лишь самому человеку. *Ойа* открывала тайную сущность вещей, людей и событий, и каждая нотка ее вкуса становилась исчерпывающим и законченным пониманием – но понимание это, способное порой перевернуть все прежние представления человека о мире, редко могло быть выражено словами без существенных потерь в ясности, силе и полноте.

Обсуждать детали переживания считалось среди *ойати* попросту дурным тоном – как пересказывать кому-то собственный сон, бессвязный, путаный, хотя бы даже и полный значимых личных образов. Что бы ни открывала человеку *ойа*, это было его лишь собственным делом – окружающие могли судить о произошедшем лишь по тем переменам, порою весьма существенным, которые нередко становились следствием воздействия хорошо приготовленного напитка. Нередки были случаи, когда ясное понимание своего пути внезапно обрушивалось на *ойати*, вызывая в нем столь глубокую переоценку собственной жизни, что, наскоро уладив дела и оставив себе лишь самое необходимое, человек в считанные дни исчезал без следа, оборвав все прежние связи, чтобы отправиться навстречу неизвестности и начать все заново – новую жизнь, в ином месте, под другим именем. О таком говорили: он выпил *ойи перемены мест* – однако лишь сам человек мог знать, что же произошло с ним в действительности.

Вкус Аши выражался для Мичи оттенками серого цвета – от светлой, почти белой золы к густой угольной черноте, и ни пятнышка посторонней краски не примешивалось к этой законченной цельности. Весь он был словно тонким, невесомым, пушистым пеплом хорошо выкуренной трубки. Так чувствовал Мичи – имевший обыкновение выбить погасшую трубку себе

в ладонь и рассмотреть аккуратную горстку остывшего пепла, прежде чем стряхнуть его или развеять – а потому вполне способный понять именно этот образ; на этом впечатлении восприятие его, впрочем, не задержалось, быстро сменившись иным, совершенно новым, в котором Аши представал сухим, легким и гладким куском дерева, какие находишь порою на берегу – просоленным морской водой, выбеленным солнцем, обкатанным о прибрежную гальку, формы одновременно простой и причудливой. Чувствовать линию Аши во вкусе *ойи* было все равно, что лежать у ночного костра и смотреть на звезды – или же, просеивая меж пальцев горячий белый песок, глядеть в высокое прозрачное небо без единого облачка.

Со следующим глотком образы обрели новое качество: *ойа* передавала понимание Аши, вызывая в памяти запахи, и то были запахи сухой, выгоревшей на солнце травы, дыма ночного костра, и – мгновением позже – будоражащее, шероховатое это чувство, что испытываешь, когда первые капли дождя падают на прогретые солнцем камни мостовой. Образы перетекали друг в друга, обретали все большую плотность, разворачивались все новыми измерениями – и вот уже Аши представал звуком: хрустом сухого хвороста, шорохом мелких камешков, шипением вскипавшей в жаровне *ойи,* шелестом опавших осенних листьев, потрескиванием угольков в очаге.

Мичи показалась бы странной сама мысль зачем-нибудь прикоснуться к Аши, тихо и задумчиво сидящего напротив со своей кружкой – но следующий глоток принес именно чувство прикосновения; на ощупь Аши оказался не более и не менее, чем грубоватой, мягкой и плотной холщовой тканью – мешковиной, если угодно.

В сосредоточенное переживание сущности Аши внезапно, будто с порывом ветра, ворвались иные чувства: Мичи так углубился в восприятие этой его завершенности, что и позабыл, казалось, о доброй половине вкуса – представлявшей, собственно, его самого. Так или иначе, *ойа* текла, как ей вздумается – и теперь являла обе свои стороны одновременно, словно бы сравнивая, подчеркивая всячески их различие. Противоположностью – вот чем были они в действительности: Мичи, спокойный и обстоятельный до медлительности – и Аши: подвижный, живой, лучившийся бодростью изнутри. Различия этого не подметил бы, конечно, разве что наблюдатель уж вовсе ленивый, равнодушный и невнимательный: оно лежало на самой поверхности, бросалось в глаза – и никоим образом не исчерпывало сути дела. Глубочайшая неизменность, неподвижность – устойчивая, нерушимая; пребывание в покое столь незыблемом, непреложном, что казался извечным и окончательным, была внутренней стороной Аши – да так, что вся открытость его, и легкость на подъем, и бьющее ключом жизнелюбие представали теперь не кажимостью – поскольку были вполне подлинными – но подобием легкой ряби на самой поверхности океана, едва ли глубоко проникавшей в толщу воды, что исполнена тишины и непреходящего постоянства. Что же касается Мичи, внешние его уравновешенность, сдержанность, даже и безмятежность – какие всегда представлялись ему в себе качествами наиважнейшими, неотъемлемыми – обнаруживали теперь природу совсем иную. Всю жизнь его, верой и правдой, они служили ему оболочкой – надежной, удобной, крепкой – вместилищем настоящей его сути, которой – как оторопело понимал он теперь – вполне чужды были всякое умиротворение и спокойствие. В потоке образов, порожденных *ойей,* Мичи видел себя кораблем, которому устойчивый, прочный корпус служит лишь верным средством, помогающим исполнять истинное его назначение – быть в пути, в движении, непрестанном, безостановочном; подвижность эта, сама потребность находиться в дороге, в странствии, готовность снова и снова покидать обжитые берега и была самой его сущностью. С иной стороны, задорным своим характером Аши напоминал живое, бойкое, беспокойное пламя – но непрестанная пляска огненных языков словно заключена была, окружена заботливо камнями добротного,

крепкого очага, и ни при каких обстоятельствах не покинула бы очерченной, установленной ей границы. Больше того – именно сама твердокаменная эта незыблемость и устойчивость служила подлинным основанием того, что открывалось и понималось как сущность Аши. Изменчивая игра пламенных сполохов, каждому видная, заметная издали, лишь оттеняла внутреннее глубинное постоянство: продолжая цепочку морских образов, *ойа* показывала Аши выстроенным на прочной скале маяком – с какой стороны ни взгляни, маяк этот непременно находился ровно в том самом месте, где ему полагалось быть, и сама эта неподвижность, хоть бы и скрашенная веселыми отсветами, была ему, как всякому маяку, смыслом и назначением.

Итак, *ойа* открывала Мичи действительного, настоящего Аши; потрясенный до глубины души, понимал он, что прежде ему вообще не доводилось узнать хоть что-нибудь в такой полноте, с такой ясностью и глубиной; Аши он знал теперь так, как до сих пор еще не знал никого, да и ничего в своей жизни.

Ойа вела Мичи сквозь вереницу образов, отзвуков, запахов, ощущений – углубляясь в одни, едва касаясь иных, проскальзывая, сосредотачиваясь; переживания эти складывались понемногу в единое целое, вплетались друг в друга отголосками, послевкусием, накапливались, сгущались, воспринимались едва ли уже не разом, одновременно – расплываясь, теряя четкость, но набирая силу и глубину. Что-то происходило, назревало будто бы, собиралось – так что последний глоток *ойи* не оказался для Мичи вовсе уж неожиданным.

Мичи еще продолжал ощущать – едва не ладонями – шероховатое плетение ткани, из которой был соткан Аши; за этим, однако, чувством, почти вещественным, явно скрывалось что-то еще, словно ткань эта была лишь завесой, да и вся ладная, добротная личность Аши, так его восхитившая, была только ширмой. Это уж слишком – думалось Мичи. Впечатлений, пожалуй, было уже и более, чем достаточно. Ему казалось, что новой волны переживаний он просто уже не выдержит – но тайна манила его, приветствовала призывно, ждала за последней завесой, скрывалась за очередным поворотом. Из уважения к ней Мичи готов был сейчас же остановиться – он ясно чувствовал, что сделать это очень легко, нужно только поставить на стол опустевшую чашку, раскурить, наконец, трубку, перекинуться с Аши парой слов – или взглядов, хотя бы, потому что слов подобрать, понятно, будет непросто – да и закончить уже, на сегодня, не пытаясь охватить необъятное, вместить в себя все и сразу; оставить последнее откровение на потом, до лучших времен, чтобы было, чего еще ждать, предвкушать, чтобы встретиться с ним позже, в полноте сил и ясном сознании – но зов тайны был слишком настойчив, и Мичи, не вполне уверенный, что какое-то «потом» обязательно будет, перестал ему сопротивляться.

Странным образом Мичи точно знал, что ему следует делать. Он закрыл глаза и сосредоточился на грубоватой фактуре мешковины, которой словно бы все еще касался ладонями. Мгновение спустя он, и верно, обнаружил себя перед высоким занавесом. Мичи затруднился бы ответить, где именно оказался сейчас, что это было за место; собственно, важным казался здесь только сам этот занавес. «Будь, что будет» – подумал Мичи, и отдернул плотную, грубую ткань.

За распахнутой этой завесой не было ничего – ничего вообще. На мгновение Мичи задержался, словно на пороге двери, широко распахнутой в бесконечность – и тут же шагнул вперед. Пустота приняла его мягко, бережно – потеряв всякую точку опоры, он падал, медленно кружась, как опавший осенний лист в безветренный день, и таял, как тонкая прозрачная льдинка под ярким весенним солнцем. Он погружался в вечность все глубже, растворялся в ней, как колечко дыма растворяется в воздухе, пока не исчезла, наконец, последняя грань, придававшая

ему – всей его личности – видимость отдельности. Мичи был каплей, вернувшейся в океан, слившейся, воссоединившейся с ним – и в этом переживании не было ни страха, ни сожаления, только безмолвный восторг и торжественность. Какой-то частью себя Мичи осознавал, что его существование подошло к концу – но, в то же самое время, только и начинается по-настоящему. Пустота, окружавшая и пронизывающая его, была исполнена знания; она содержала все ответы, к которым Мичи так стремился, которых так жадно искал, так жаждал – но вопросов больше не оставалось, как не осталось уже и того, кто мог или хотел бы задать их.

Бесконечность была совершенно пустой, неподвижной – но готовой немедленно принять любую из великого разнообразия форм – явить себя в осязаемом, проявленном мире, пройти сполна весь жизненный путь, вобрать в себя всякое впечатление, впитать всю полноту бытия: рождения, становления, расцвета и увядания, и вернуться к изначальной своей, преисполненной изобилия завершенности, что заключала в себе опыт бесчисленных воплощений – ни к какому в отдельности не тяготея, ни в одном из них не нуждаясь. Бытие и небытие, возможное и проявленное, многообразие и пустотность, движение и покой были здесь связаны неразрывно – перетекая меж собой, они существовали одновременно, не исключая, но дополняя, углубляя, подчеркивая друг друга всячески.

Мичи знал, что соприкасается с последней, окончательной тайной. Он испытывал невероятное наслаждение, понимая, что и сам является ее частью: неотъемлемой, неотчуждаемой частью вечности. Всякая отделенность была совершенно, решительно невозможной – и не существовало силы, способной это изменить. Мичи успел еще удивиться, как мог не ощущать этой связи, этой вечной причастности в каждое из мгновений своей предыдущей жизни – но тут же и понял, что ответ на этот вопрос – очевидный, исключавший любое непонимание – известен ему, да и всегда был известен. Все было просто: Мичи нравилось быть вечностью, а вечности нравилось быть Мичи. Его неодолимо тянуло раствориться в ней, перестать существовать как нечто отдельное – и столь же страстно желала она оставаться им: видеть его глазами, переживать его чувства и думать его мысли.

Вечность играла сама с собой в прятки, в любимую свою игру – не вынужденная делать что бы то ни было, чуждая самого понятия необходимости, полностью свободная, она выражала себя в этой игре, отдаваясь ей азартно, самозабвенно: всякий раз, в каждом своем воплощении забывая себя совершенно, она глядела на себя со стороны – и не узнавала себя, испытывая тем больший восторг, чем полнее ей удавалось себя потерять.

Неожиданно Мичи стало совершенно ясно, что худшие моменты его жизни были наиболее острыми и волнующими мгновениями этой игры. В нем ожило воспоминание недавнего промозглого вечера: вот он, на веслах, промокший насквозь под беспросветным мелким дождем; за целый день на воде едва удалось набрать пригоршню медяков, да еще и пришлось, к тому же, под конец отмывать лодку от последствий неприятности, предсказуемо приключившейся с последним его пассажиром, явно употребившим лишнюю пару кружек *оки.* Мичи возвращался в тот день домой с противоположного края города – совершенно опустошенный, обессиленный, проклиная все на свете, полный печальных мыслей о странно сложившейся своей жизни и смутной тревоги о том, что это унылое существование и есть теперь его судьба. Ему хотелось съежиться, свернуться клубком на дне лодке и взвыть: он чувствовал себя окончательно потерянным, заблудившимся, оторванным от всего, что казалось ему важным и значимым – и вдруг, вот только теперь, он со всей ясностью понял, насколько драгоценным было то мгновение с точки зрения вечности. Теряться и находиться, снова и снова – таково и было ее намерение, таковы были правила игры, сам ее смысл – и чем безнадежнее удавалось ей забыть

себя, тем полнее становилась радость неизбежного, в конце концов, возвращения. Чувствуя себя сейчас одним целым с изначальной природой бытия, Мичи остро ощущал то наслаждение, которое ей приносила возможность быть им – именно им. Ей нравилось быть и моросящим осенним дождем, и камнем, и тянущимся к свету ростком, и бушующим океаном, и огнем в камине – она ликовала, разыгрывая, разворачивая великолепные сцены во времени и пространстве – и он, Мичи, знал, что был несомненной ее удачей. В нем она могла потеряться так глубоко, как в тот вечер – и найтись так очевидно, как сегодняшним утром, когда он сидел с чашкой *ойи* и трубкой в оконном проеме – без единой мысли, в полной тишине – любовался морской гладью в лучезарном, нежнейшем солнечном свете, подставляя кожу осеннему теплому ветру. Вечность, в которую он сейчас погружался, медленно скользя, опускаясь все глубже, была ему рада – но вовсе не готова отказаться от удовольствия побыть им еще немного.

У бесконечности было дно. Мичи достиг его, распластался, растекся – желая впитаться, просочиться по капле, исчезнуть, слиться. Дно, однако, оказалось прохладным, шероховатым и твердым. Не сразу, с трудом, Мичи открыл глаза и понял, что лежит на каменном полу *ойаны*. Под голову была заботливо подложена свернутая накидка. Рядом сидел Аши, поглядывал на него с лукавой улыбкой. К Мичи понемногу возвращалось привычное ощущение телесности. Он попытался улыбнуться Аши в ответ – давалось это ему с трудом, и получалось не слишком удачно.

– Далеко, похоже, ходил, а?
– Далеко, Аши.

Собственный голос еще казался чужим, приходящим откуда-то извне – но все-таки был послушным.

– Все, небось, понял о жизни?

Мичи кивнул. Говорить не хотелось. Пережитое им было чересчур прекрасным, слишком значимым – он чувствовал себя наполненной до краев чашей, и боялся расплескать хоть каплю.

– Это, Мичи, ничего – это пройдет!

Аши потрепал его по плечу. Мичи отчетливо понимал, что именно Аши имеет в виду, и оценил его шутку: тот был совершенно прав, и явно говорил, опираясь на немалый собственный опыт. Мгновения *саты* – ясного осознания, хоть и не столь потрясающие, как сегодня, случались и раньше; всякий раз он думал, что уж теперь-то жизнь его изменилась необратимо, и больше не станет прежней. Самое сложное, однако, заключалось в том, чтобы сохранить свое понимание, пронести *саму* сквозь повседневность – задача была не из легких, и Мичи готов был признать, что до сих пор это не слишком ему удавалось. «И, похоже, я в этом не одинок» – подумал он с улыбкой. Мысль эта задержалась в его голове и неожиданно переросла в ощущение, до сих пор почти ему не знакомое. Сколько он себя помнил, одиночество было естественным его состоянием. Он не чуждался общения и не избегал его; порой даже был откровенно не прочь поболтать, встретив интересного собеседника – что, впрочем, случалось нечасто. Лучшими из таковых оказывались, как правило, торговцы книгами, или же всяким старьем: бывало, разговор завязывался сам собой, переходя от предметов очевидных, вроде сравнительных достоинств того или иного писателя, к обмену либо мыслями отвлеченными, представлявшими для Мичи особую ценность, либо достаточно личными, приоткрывавшими – пусть на мгновение – сущность собеседника. Порою Мичи казалось, что он, наконец, встре-

тил настоящего друга – но очарование мгновения, как и сама беседа, рано или поздно заканчивались; расставались тепло, договаривались как-нибудь обязательно встретиться, поболтать за кружечкой – но, оставшись наедине с собой, Мичи прислушивался к своим ощущениям – и не чувствовал ничего. Его не привлекали все эти принятые у людей дружбы, скрепленные выпивкой, держащиеся на того или иного рода взаимной выгоде. Он искал чувства возникшей причастности, внутреннего сродства, глубинной, подлинной связи между людьми, выходящей за пределы общих тем, занятий и интересов – и был уверен, что узнает его сразу же, безошибочно. Разочаровываясь снова и снова, он был благодарен судьбе за эти приятные встречи, за хорошие разговоры: со временем он начал даже воспринимать их как события вполне самодостаточные, и не искать большего, обзаведясь множеством добрых знакомых. Ему не казалось уже, что мир населен исключительно чужаками, с которыми у него не было, да и не могло быть, ничего общего; случайные эти встречи, пусть бы и редкие, не предполагавшие продолжения, убедили его в обратном – но истинная причастность по-прежнему казалась недостижимой, и окружавшие его люди, даже и лучшие среди них, оставались ему вполне посторонними: не будучи вовсе чужими, не становились они ему и в полной мере своими, близкими.

То, что он чувствовал сейчас, отличалось от всего его прежнего опыта отчетливо и определенно. Мичи приподнялся на локте, кое– как пододвинулся к теплому, прогретому очагом основанию стойки и сел, опираясь на него спиной. Сидя думалось легче. Он поглядывал на сидящего рядом Аши – и сама мысль о том, что они знакомы всего один вечер, представлялась ему решительно невозможной. Аши был неотъемлемой частью его жизни – был ей, казалось, всегда, с самого начала.

– *Ойа сплетения судеб*, значит?
– Выходит так, Мичи. Выходит так. Ну, может, это – докурим с тобой мы, что ли?

Молчание, что поджидало их с Аши сразу же за последней каплей *ойи,* Мичи предчувствовал наперед, едва ли не в самом еще начале – лишь только успел оценить глубину развернувшейся *саты.* После такого, действительно, непременно же полагалось побыть в тишине, не разменивать, не расточать послевкусие на разговоры. Впрочем, недокуренные их трубки, ради возможности безраздельно сосредоточиться на удивительном действии *ойи* на время оставленные, лежали здесь же – а стало быть, в молчании этом не будет, пожалуй, неловкости, что представляется неизбежной, когда за несколько медленных, похожих на капли меда, мгновений успеваешь узнать вот только недавно совсем еще постороннего человека лучше, чем кого бы то ни было прежде – лучше даже, чем когда-либо знал самого себя.

Курили, молчали. Вскоре, однако, Мичи, придя в себя окончательно, водил уже медленно донышком *джуми* по раскаленному песку жаровни: надеялся приготовить *ойу,* что была известна как *ойа беседы, затянувшейся до утра.* Допущенный до заветных запасов Аши, поначалу он долго не мог остановиться, открывая склянку за склянкой. Затаив дыхание, разглядывал их содержимое, принюхивался, прикрывая глаза в блаженной сосредоточенности. Порой переглядывался с Аши, качал головой, восхищенно и недоверчиво: сокровища, хранящиеся во всех этих горшочках, коробочках, банках и свертках, без малейшего намека на какой бы то ни было порядок, собраны были, несомненно, с великим тщанием и любовью. Получив полную свободу хозяйничать по своему усмотрению, Мичи по наитию выбрал нужные компоненты, и прислушался к *мгновению,* пытаясь уловить его содержание и смысл, который предстояло выразить *ойе*. Долго размышлять не пришлось: Мичи уже успел присмотреть на одной из полок *джуми* побольше, на добрых пол-*меры* чашек, потому что соответствовавшая такому случаю *ойа* готовится сразу с приличным запасом – дабы не отвлекаться – и всю ночь придерживается

потом в теплом песке, на жаровне. Ночь успела уже вступить в свои права безраздельно, и до рассвета было еще далеко; беседа их, стоило Мичи немного прийти в чувство, потекла совершенно непринужденно, то прерываясь долгими, лишенными всякой неловкости паузами, то возобновляясь без малейших усилий, пока, наконец, Аши и не предложил Мичи покопаться среди его запасов и приготовить что-нибудь на свой вкус – и все это было так здорово, что единственным желанием Мичи было, чтобы утро подольше не наступало, и они с Аши могли бы вот так сидеть, и говорить, и молчать, и попыхивать трубками. Дело было теперь за малым: позволить этому настроению перетечь в движения кончиков пальцев, взрыхляющих в *вайгни* растертую смесь, в размеренное скольжение *джуми,* рисующего спирали в горячем песке… *Ойа,* которую готовил Мичи, была проста: она не требовала ни особого мастерства в приготовлении, ни безраздельного внимания к своему вкусу, в то же время помогая хорошей беседе течь свободно. Сохранять тепло – вот что было здесь самым важным. Пытаться создать что-нибудь выдающееся сейчас, после только что пережитого чуда, казалось Мичи весьма неуместным – как бы ни искушало его многообразие возможностей, притаившихся у Аши в сокровищнице, он решительно остановился на сделанном выборе – простом и вполне подходящем случаю.

– А ведь недурно, Мичи!

Аши отхлебнул большой глоток с видимым удовольствием. Обыкновенно Мичи, крайне редко готовивший *ойу* в чьем-то присутствии, упражняться в этом искусстве предпочитая наедине с собой, волновался бы и чувствовал себя неуютно под посторонним взглядом – что не преминуло бы отразиться, в итоге, на вкусе готовой *ойи*. Сейчас же он с удивлением обнаруживал, что нисколько не стесняется Аши, и вовсе не чувствует себя школяром на строгом экзамене. Было ли дело в неисчерпаемом дружелюбии Аши – или, может, в столь очевидном его мастерстве, что показаться новичком и любителем рядом с ним было вполне естественно и ничуть не стыдно, или же то были отголоски волшебного действия *ойи сплетения судеб*, Мичи понять не мог – да и не слишком стремился. Ему попросту было приятно, что Аши понравилась его незамысловатая *ойа* – и он решился, наконец, задать вопрос, не дающий ему покоя.

Ойа сплетения судеб, открывая восприятию подлинную сущность человека, не сообщала, необходимо заметить, ни малейшей детали, касавшейся его жизни – ни прошлой, ни настоящей. Мичи даже забавляло это странное чувство: он знал Аши, как никого ранее в своей жизни – и не знал о нем ничего; ничего вообще. Больше всего – думал он про себя – это походит на встречу старых друзей, не видевшихся годы и годы. Что с ними было? Что они делали? Где побывали? Что видели? Как живут сейчас? Столько вопросов, столько нужно узнать…

– Аши, послушай… а как вообще получилось, что мы до сих пор не знакомы? Я же про тебя и не слышал даже – а думал уже, чуть не каждого *ойадо* в Городе знаю…

– Бывает, Мичи, бывает! Только, кажется, вызнал, что да как – ан нет, не тут-то оно и было!

– Аши, ну я серьезно. Ты же только что *ойу сплетения судеб* сделал. Думаешь, это много кто может? Ты же мастер, ну очевидно же – да и какой еще! И вот чтобы – никто, ни разу, про тебя – ни единого слова?

– Ни единого, говоришь? Так это ж и славно, а?

– Но, Аши… это же искусство, настоящее, высшей пробы! Такое, что золотого за чашку *ойи* не пожалеешь! Мог бы ведь серьезные деньги делать – и *ойану* держал бы не здесь, в захолустье этом, а прямо в сам*о*й Середине! Да к тебе очередь бы стояла, на год вперед!

– Середина, это, конечно, да… А что, Мичи, правда, есть дураки такие, что б за чашку – да и по целому золотому?

– Не знаю, Аши. Должны быть. Один – так уж точно есть. Ну, ты понял. И не в этом дело же, вообще. В смысле, не в деньгах только. Хотя и в деньгах, конечно…

Мичи запутался. Соображения, которыми руководствовался Аши были ему решительно непонятны – а тот явно не торопился их приоткрыть. Обладать талантом столь очевидным, столь востребованным – и вовсе не спешить обратить его в звонкую монету… такое у Мичи просто не укладывалось в голове.

– Аши – он, знаешь, покой любит, вот оно что. Суетно там у них, в Середине-то. Да и люди – ненастоящие же какие-то будто, а? Пыжатся, корячатся, всё хотят из себя показать, что они, вишь ли, эдакие. И что? Таких вот людишек у тебя же под дверью – да прямо на год вперед? Вот уж, и даром Аши она не сдалась, неволя такая!

Чего-то подобного, собственно, Мичи и ожидал. Отойти однажды от дел, разорвать порочный круг суетных забот, да и посвятить себя любимым занятиям – в уединении ли, в небольшом ли кругу тех, кто искренне тебе близок – без вечной необходимости соответствовать, оправдывать ожидания, вращаться в правильном, что б его, обществе – это было и собственной же заветной его мечтой, ради которой он готов был работать упорно и тяжело, идти на уступки, терпеливо сносить и превратности погоды, и нравы своих пассажиров, мириться с любыми неудобствами и лишениями. Мичи знал, что так можно, что он – продолжит, продержится, ведь все это было не навсегда – лишь на время, только пока не будет достигнута цель – та самая, о которой Аши и говорил: свобода.

– Ну, не обязательно так ведь всю жизнь. Перебраться бы все же тебе, где народу побольше, да и общество поприличнее… За четверть *меры* – с таким талантом! – можно так заработать, чтобы… чтобы на все хватило. На все! И живи потом в свое удовольствие. Хочешь – хоть вообще ничего не делай. Или ту же *ойу* готовь – себе, да кому еще сам захочешь. Или там, путешествуй. Или – не знаю – книги пиши!

Очарованный и, как всегда, стоило только вспомнить, вдохновленный собственной же своею мечтой, Мичи сам не заметил, как начал расписывать ее перед Аши в красках, смакуя подробности. Тот кивал головой, пока, наконец, не выдал:

– Ну Аши как-то так и живет ведь, а? Вроде этого самого и выходит.

Хмыкнув и выпустив целую серию аккуратных спиралек дыма, он с хитрой улыбкой добавил:

– Вырастешь вот – поймешь, как оно мало надо, для счастья-то. Ты бы лучше чего про себя рассказал бы, а? Как это и докатился-то, до этакой жизни? *Такке* он, видите ли!

Аши опять хмыкнул, всем своим видом выражая смесь притворного возмущения, недоверия и предвкушения хорошей истории. Выглядело это столь забавным, что напряжение, привычно охватывавшее Мичи всякий раз, как ему приходилось слышать подобный вопрос – а приходилось, что уж и говорить, частенько – немедленно улетучилось. Подхватив волну настроения Аши, одновременно серьезную и смешливую, он – что случалось с ним крайне редко – почувствовал, что совсем не прочь поделиться своей историей. Больше того – ему вдруг отчаянно этого захотелось. Нечто совсем еще незнакомое происходило с ним: одно за другим перед мысленным его взором проплывали воспоминания, бессвязные поначалу – обрывки,

картинки прошлого. Некоторые были совсем недавними, иные казались прочно и основательно позабытыми. Мичи приходилось уже прикладывать немалое усилие, чтобы отвлечься от этого потока образов и продолжать разговор. Поток, однако, будто лишь набирал силу: отдельные воспоминания сплетались, соединялись в законченные, осмысленные цепочки – и любая готова была развернуться в целостную историю. Собственная жизнь неожиданно представала упорядоченным повествованием – ничего подобного Мичи прежде не испытывал, и разрывался теперь между продолжением беседы и настоятельной, неотложной потребностью углубиться в эти переживания. Попытки разобраться в себе, размышления о своем пути, судьбе, сущности и правильном месте в мире составляли для Мичи предмет особого внимания и заботы; занятию этому он неизменно предавался охотно и увлеченно – в тишине и уединении, разумеется. Последними Мичи располагал в избытке – если не брать в расчет того времени, что посвящено было добыванию средств на жизнь – так что великое множество вечеров успел посвятить осмыслению и переосмыслению собственной жизни. Плодами подобных раздумий он не то, чтобы гордился. О какой бы то ни было завершенности, окончательности – особенно в свете последних событий – говорить здесь было явно еще преждевременно, и все же Мичи не только находил самопознание делом весьма занимательным, но и убежден был в несомненной его полезности. Всякое событие, происшествие, даже и просто переживание, мысль привык он взвешивать вдумчиво, рассматривать всесторонне – и теперь внимание его захвачено было возможностью под незнакомым углом взглянуть на собственный жизненный путь, сосредоточиться на взаимосвязях между всем, что знал он о себе прежде – и тем, что открыто было ему теперь *ойей сплетения судеб.* Потребность все хорошенько обдумать становилась все неотложней и настоятельней – но и каждое мгновение в обществе замечательного старика казалось поистине драгоценным. Обыкновенно в подобных обстоятельствах Мичи предпочел бы молча и не спеша переваривать пережитое – но сейчас ему отчего-то больше хотелось выговориться, хотелось неудержимо, будто сама его история требовала выхода, просилась наружу, желала оказаться рассказанной и услышанной. Думать вслух, делиться своими мыслями было для Мичи делом не слишком еще привычным: лучшим среди своих собеседников он неизменно полагал *Мичи времен поздней осени;* к нему обыкновенно и обращался, в надежде быть до конца, по-настоящему понятым. Аши, с иной стороны, очевидно был вовсе не прочь выслушать хороший рассказ – только вот достаточно ли хороша, подходит ли, годится ли для беседы эта вереница оживающих, вспыхивающих красками, запахами и звуками воспоминаний? Кому, кроме самого Мичи, могло это быть действительно интересно? Аши? Уверенности все же не было.

– Аши, скажи – ты ведь не из одной вежливости спрашиваешь? В смысле, правда хочешь узнать?

Тот увлеченно закивал, изображая крайнюю степень нетерпения.

– Только знаешь, история та еще у меня. Своеобразная, скажем так. Предупреждаю, в общем, заранее. И что хуже всего – толком в ней до сих пор и сам же не разобрался.

Аши потянулся к жаровне, снял *джуми* с песка и добавил в кружки горячей *ойи*, наполнив их почти до краев. Отпив пару глотков, он удовлетворенно заметил:

– Крепчает. Хорошо сделано, Мичи!

И, вдруг став неожиданно серьезным и собранным, добавил:

– Уж какая она там ни есть, история-то – ты, знай, пей себе, да рассказывай. Сам-то понял хоть, чего наварил тут?

– Да вроде бы ничего особенного – *ойа доброй беседы.* Должна быть, во всяком случае.

– Вот же беда с тобой! То есть *ойу сплетения судеб* с пол-глотка узнал, а эту вот – и никак? Сам же варил, давай!

– Не пойму, Аши. Что уж такого в ней?

– Что, да что – *ойа дальних воспоминаний* вышла. Слыхал, небось? Да и какая еще! Тут же только начни – до утра ведь не остановишься. Так и будет одно за одно цепляться, пока всю душу-то и не вывернешь. А и хороша *ойа*-то! Аши, так бы даже и сам не прочь, былое поворошить – да уж вот не про Аши сегодня день. Или не так?

– То есть, вот оно почему…

– Что, прямо вся жизнь на ладони будто, да и в себе держать – ни мочи, ни терпежу?

– Точно так, Аши. Даже странно мне, непривычно. Так-то я ведь молчу все больше, думаю себе всякое – а тут столько всего сказать надо… И все одно с другим связано, как и начать – не знаешь…

– Велика важность! С чего не начни – все одно. Пока целиком-то себя не выскажешь, не отпустит – *дальних воспоминаний,* уж такая она и есть. Захочешь – не сваришь ведь! Когда надо ей, уж тогда сама и случается. Раньше-то ведь, поди, и не пробовал?

– Нет. Слышать – слышал. Разное, в общем-то, говорят…

– Ну их, а? Посудачить-то мастеров завсегда хватало. Только *ойа* уж, пока сама тебя не найдет, да чего надобно не откроет – почитай, так и вовсе тебе неведома. С этим-то просто все – чего пил, то и знаешь, никак иначе.

– И все-таки, Аши? Я читал, с этой *ойей* как будто даже и не в словах дело – то есть, рассказываешь, вроде, словами, а самое главное безо всяких слов понимается, напрямую. Как будто и сам в прошлое возвращаешься – как в живую, как наяву – и можешь даже другого с собой позвать. Путешествие, говорят, такое. Что, и правда?

– Что тут правда, это ты сам поймешь. А и да, второму-то даже поинтересней. Как-никак, про себя-то знаешь – того, сего – совсем уж не удивишься. Хоть и всякое приключается. А уж по воспоминаниям по чужим шастать – да как прямо по собственным – это, знаешь ли… Страшная вещь была бы, когда бы кто с умыслом такое сварить сподобился. Только уж как, да что – *ойа* сама решает. *Дальним воспоминанием* без нужды-то не обернется. Ты того бы, кстати – Аши заложил руки за голову и потянулся всем телом – пару глотков еще, да вперед. До утра-то хоть и неблизко – а и, все ж таки, можно бы и начать. А то, гляньте – читал он, надо же!

– Да я вроде как будто готов уже… Только с чего бы вот…

– Все с того же, с того же, Мичи. Как ты в лодке-то оказался? *Такке,* скажите-ка! Аши, он уж *такке*-то навидался. Вот, это самое старику объяснишь, утолишь любопытство-то – а уж там, глядишь, оно и само пойдет.

– Тут, Аши, такое дело… ты еще только в лодку ко мне уселся – а я уже прямо чувствую, что вот не просто же так оно! Происходит что-то, как бы идет к чему-то, а к чему вот – не понимаю. Ну, в общем, принял я тебя за *смотрителя.* Почему именно вот за *смотрителя* – не скажу: сам не знаю. А уверен был до того – все обдумал, так уже прямиком и собрался, на Лиибури. Или, на Монке, там. Ты же знаешь ведь? Вольный *такке* – уж если *смотрителю* попадется – так и едет на месячишко, киркой махать. Порядок такой теперь. Столица, все ж таки, гильдии, дело такое, в общем… Вот почему я, действительно, как положено, *имени* не приму – это, наверное, вопрос.

– Мичи, ну это самое… Ты вот *ойу* же с Аши пил? Пил. Насквозь же его видал. Видал?

Мичи кивнул.

– Ну так и Аши тебя видал. Какой вопрос-то? *Такке* не можешь стать, потому как вовсе же и не *такке*. Понятно, что ж. Не свое дело делать – одно. Странно, хотя. Не свою вот судьбу принять…

Аши выразительно поднял бровь и покачал головой, все видом показывая, сколь ужасающей считает он подобную участь. Мичи испытывал признательность за то, что ему не пришлось объяснять этот, казавшийся столь запутанным, предмет. Найти подходящие слова, даже наедине с собой, не удавалось почти никогда – Аши же ухитрялся выразить его чувства запросто, словно понимал их гораздо лучше, чем он сам.

– Так, Аши. Точно так все и есть. А насчет не своего дела… Мне ведь даже признаться неловко. Не знаю я, какое оно – моё. Представляешь, вот до сих пор и не знаю. Все чего-то жду… может, думаю, что-то откликнется. Чтобы, знаешь, сразу почувствовать: вот оно, вот же! То самое! И – ничего. Смотришь вокруг, чем люди заняты, как живут, что поделывают – все чужое. Бывает, кажется: все, нашел. А попробуешь, на себя примеришь – на всю жизнь, то есть, всерьез если – нет, не то. Иногда кажется, вообще ничего бы не делал, дай волю. Но на это не заработал, пока. Так что вот. Жду. Сам не знаю даже, чего. А на *воде*… *Вода* кормит. Кому веслом-то махать охота? Вот и платят. Живу неплохо, Аши, не жалуюсь, не подумай. Себе хозяин, никого надо мной, ни от кого не завишу. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Только знаешь… я как будто в прошлом своем живу. Сам еще здесь, на веслах, а мысленно – там уже. Где сложилось все, получилось. Где все правильно, и вся жизнь – одно целое, понимаешь? Так, что пополам делить ее не приходится. И время это – когда, то есть, деньги делаешь – не вычеркиваешь его, как и не было. И все – в радость. И вот, я как будто оттуда сюда оглядываюсь, надо же, думаю, чего это только со мной не было, кем только не был – даже и *такке.* На этом вот и держусь.

– Однако, сложный ты, а?

Мичи был тронут звучащими в словах Аши пониманием и теплотой.

– Это да, что уж есть, то – есть.

– Будто по кругу бегаешь – а никак до конца его не добраться, ни вовсе с него сойти, а?

Ни жалости, ни осуждения – ясное понимание того, что творилось у Мичи внутри. Самой сути, и только.

– Бывало такое, бывало с Аши. Откружил-отпетлял свое, будь здоров!

– И что… что потом?

– Потом? Ну, потом кой-чего и стал уже понимать.

– Расскажи?

– А тебе-то оно на кой?

– Как «на кой»? Не узнаю – места же сам себе не найду!

– Э, такое «потом», как у Аши чтобы – ни к чему оно тебе будет. Свое искать надобно, понимаешь ведь.

– Это ясно, но, Аши, все-таки!

– Все-таки? Все-таки есть оно, «потом»-то это. Завсегда есть. И, коли не бросишь – так сыщется непременно. Вот это уж ты и знай.

У Мичи к горлу подкатил комок, и он изо всех сил пытался с ним справиться. Тонкая, чувствительная сторона его натуры не была предназначена для посторонних глаз: он быстро вернул своему лицу привычное выражение усталого добродушия, пополам со слегка насмешливым безразличием – видали мы, мол, эти виды – и вдруг со всей очевидностью понял, насколько маска эта, верой и правдой служившая ему там, на воде, была не уместна здесь, рядом с Аши, после только что выпитой на двоих *ойи сплетения судеб*.

-Ты, Мичи, это – пока на веслах не оказался, кой-чего, похоже, в жизни-то перепробовал?

– Ну, было дело…

– А теперь сшибаешь, стало быть, медячок-другой, да и думаешь, как бы наладить все, чтобы в радость было?

– Так и есть, конечно.

– А и сколько ни думай, все никак же получше себе занятия не отыщешь?

– Точно так.

– Тогда вот чего тебе Аши скажет – а уж ты того, поразмысли. Сам вот как полагаешь, случайно оно так вышло?

– Случайно? Не знаю. Так уж, вроде бы, повернулось. Кто бы *меру* лет мне назад сказал – вот, мол, Мичи, быть тебе вольным *такке* – да я в жизни бы не поверил! Последнее, если честно, о чем бы подумал. *Такке* - настоящие, то есть, они, ну… сам же знаешь – другие они какие-то. Получается, правда я здесь – случайно. До поры, пока получше дела не подвернется.

– Случайно, значит. Ну вот ты, пока *ойу* пил – о самом себе, скажи, чего понял-то? Самого главного, что уж там ни на есть?

Мичи задумался. Несколько раз он уже совсем было собирался что-то сказать, но тут же останавливался, качал головой, думал еще, но так и не мог подобрать подходящих слов.

– Сложно все, Аши. Вижу, вроде бы, ясно… а словами – ну никак… Как ни пытаюсь – для меня самого в этом смысл есть, а вслух сказать – не понятно же ничего.

– А, так и должно быть. *Ойа* же. Потому и не говорят потом – ведь не то, чтобы запрещал кто. Просто – вот поди же ты, объясни. А и не стесняйся, как видел – так и скажи. Аши-то можно уж.

Мичи, наконец, решился:

– Ладно. В общем, тут много всего, но суть такая: я – вроде корабля такого, который ни к одному порту не приписан. Нигде надолго не могу задержаться. Как будто и живу только в море: от одного берега отплыл, к другому еще не пристал. И вот тут-то мне самое место и есть. А берега, они зовут: давай, Мичи, сюда! И я вот не просто так посреди моря болтаюсь, а вроде как по делу иду – как если и правда, очень нужно мне было к берегу. Только… не мне это, а скорее, берегу самому нужно – чтобы доплыл я. А мне – чтобы волны только, и брызги, и паруса под ветром – и все. Но просто так ведь – нельзя, нужен, не знаю… повод какой-то. Чтобы было *куда* плыть. Только это *куда* – как раз не самое важное. Как-то так. Уфф… чепуха какая-то получается…

Аши смотрел на него, со своей добродушной хитринкой в глазах – и явно был на шаг впереди.

– А вот представь: идешь ты, это, по Середине. И тут, значит – Аши! Рукой махнул, в лодку сел к тебе, говорит: а свези-ка ты меня к Северному. Повезешь?

– Повезу. Четверть *меры* медью – и всех делов.

– И вот, стало быть, подходим к Северному, уже и потрохами рыбьими завоняло, а тут тебе Аши – раз: поворачивай, мол, пойдем с тобой на Хиобе.

– Да туда же идти пол-дня! Нет, ну так посмотреть – почему бы и не сходить? Обойдется только дороговато – меньше *кошти* туда перевозчика не найти.

Аши откровенно уже посмеивался:

– Ладно, ладно. Идем это мы с тобой на Хиобе, дошли до… чего там, на полпути-то? Ну, пусть до *ойаны* этой, которая на Урсиа. Тут-то, значит, Аши и говорит: а причаль-ка, знаешь ли, прямо здесь. Восемь медяков тебе отсчитал, все по-честному, значит, да своей дорогой-то и пошел. Не поплыл, стало быть, на Хиобе. Остался. Что скажешь?

– Ну, а мне-то что? Остался себе, и остался. Можно подумать, так уж мне сдался Хиобе этот! Я бы, кстати, от Урсиа себе потом подобрал кого – не порожняком же к Середине идти. Получается – ходу меньше, а денег больше. Да и места там, кстати сказать, чудесные! Идешь себе, по сторонам поглядываешь – а кругом все башенки, садики, мостики их воздушные, одно удовольствие…

– Значит ты, говоришь, случайно себе занятие выбрал?

До Мичи, кажется, стало доходить, к чему клонит Аши:

– То есть… Нет, подожди… Хочешь сказать, что…

– Чего Аши не скажет, так это что *такке* – судьба тебе. Но!

Это «но» его прозвучало первой тяжелой каплей большого дождя. За нею – внезапно, как летний ливень – на Мичи обрушилось понимание. Он чувствовал такую чистоту, свободу и легкость, словно дождь этот и правда начисто смыл груз тяготивших его мыслей, положив конец привычной уже беспросветности. Под слоем пыли и грязи вдруг обнаружилась незаконченная, но полная понемногу проявляющегося смысла картина его жизни: удивительная мозаика, складывать которую, кусочек за кусочком, всегда и было любимым его занятием. Пока он не начал постепенно терять себя в однообразной, затягивающей повседневности. Пока не начал превращаться в *такке* – и это тревожило его, тревожило сильно: он все еще способен был осознавать, что медленно соскальзывает куда-то, где вовсе не хотел оказаться – и не знал, как остановиться, не умел найти выход.

Первые деньги на воде приходили легко: стоило лишь остановиться на взмах руки, поработать немного веслами. Это казалось делом настолько простым, что Мичи, всегда умеющий найти доброе применение лишней монетке, искренне радовался возможности перехватить таковую, от случая к случаю. Даже когда он обнаружил, что нехитрое это ремесло вполне способно его прокормить – стоит только уделить ему больше времени – он все же долго не допускал и мысли, что *перевозка* могла бы стать постоянным его занятием. Рожденный – в этом он не сомневался – для чего-то совершенно иного, он обдумывал дальнейшую свою судьбу, присматривался, пробовал свои силы. С какой-то все более пугавшей его неизбежностью, однако, он снова оказывался в собственной лодке, высматривая, не махнут ли ладонью с берега – отчего-то всякий раз выходило так, что занятие *такке,* в сравнении с прочими, приносило ему куда больше звонкого серебра – и куда меньше досады и раздражения. Это вовсе не было хорошо – скорее, не настолько плохо, как все остальное. Он негодовал на себя, зная, что способен на большее, и относя неспособность вырваться из замкнутого круга исключительно на счет собственной лени и глупости – но дело, как становилось ему ясно только теперь, было совсем в

другом. Он искал занятие, которое бы ему *соответствовало* – но проблема заключалась в том, что ремесло *такке* и соответствовало ему, подлинной его природе, самой основе его существа. Впервые – с тех самых пор, как перестал радоваться случайно заработанному на *воде* медяку, и принялся, можно сказать, загребать их веслами – он подумал о теперешнем своем способе добывать средства на жизнь с благодарностью и теплотой. Напряжение, скопившееся в нем, таяло, исчезало бесследно. То, что казалось ему неразрешимой проблемой, оказалось крепким, устойчивым и надежным основанием его жизни; положение дел, из которого он искал выхода, само по себе было выходом: способом, позволявшим тому, что виделось и понималось сейчас как внутренняя его структура, абстрактная суть, проявлять себя в мире вещей и слов.

Очевидно, что путь этот был для него вовсе не единственно возможным – даже и явно не самым удачным. Но Мичи знал – стесняясь себе в этом признаться – что все эти годы был превосходным *такке*. Он понимал теперь, что смог столь очевидно преуспеть в искренне нелюбимом деле только лишь в силу того, что оно – пусть и на самом низком уровне – соответствовало складу его личности, и ясно чувствовал внутри себя источник неисчерпаемой силы, готовой проявляться снова и снова, не изменяя своей природе, но приспосабливаясь к обстоятельствам – даже к собственным его лени и глупости. Мичи улыбался: он был совершенно уверен, что сила эта однажды обязательно найдет себе новое выражение, новый способ разворачиваться, разматываться, становясь нитью его судьбы. Он все так же не имел ни малейшего понятия, как именно это произойдет, или чем ему следует заниматься – но знал, что может положиться на нее, довериться ей. Беспокоиться было не о чем. С нежностью разглядывал он яркие, отчетливо всплывающие перед мысленным взором картинки – свое потайное собрание *хороших дней* - и удивлялся, сколь многим был обязан *воде*.

За четыре года Мичи узнал Город, как знает его мало кто – разве что именно перевозчики. И поскольку перевозка, сама по себе, никоим образом не исчерпывала круга его интересов, замечал Мичи гораздо больше, нежели видит обычно *такке*. Поначалу, конечно, Город просто ошеломлял его; Мичи казалось невозможным не то, что узнать его до конца – но даже и просто запомнить: что где находится, как до чего добраться. Понемногу, однако, учился он находить верный, хороший путь в сплетении городских каналов. Самый короткий, как выяснялось, редко оказывался самым быстрым – а дороги прямые, общеизвестные и вообще были, чаще всего, вовсе не лучшим выбором. Каналы с односторонним движением стали кошмаром первых его месяцев на *воде*: свернув в такой по ошибке, оставалось только бесконечно идти вперед, пока не найдешь подходящего поворота – и все это под насмешки или ворчание пассажиров, по вине незадачливого перевозчика вынужденных потратить на дорогу времени больше вдвое, а то и вчетверо; разумеется, на цене поездки все это если и отражалось, то разве в меньшую – по очевидным причинам – сторону. И все же, в подобных случаях двигаться по прямой было лучше, нежели пытаться развернуть лодку и пробираться назад во встречном потоке: за такое можно было не только расстаться с доброй *полумерой кошти,* попавшись на глаза городской страже, но и запросто огрести веслом от кого-нибудь из бывалых *такке,* которым и без таких помех несладко приходилось в переполненных лодками, едва проходимых каналах. Разобравшись даже, где и в какую сторону нужно плыть, оставалось еще освоиться со множеством тупиков, завалов и слишком узких, для кряжистой его лодочки, боковых проходов; необходимо было держать в уме, в какое время удобнее двигаться основным каналом, вместе с потоком лодок, а когда вернее идти в обход – ныряя под низкие, так и норовившие приложить тебе по лбу мостики, едва не обдирая бока лодки между угрожающе сходящихся стен, почти задевая днищем о камни в мелководных протоках. Определяться с их проходимостью приходилось всегда навскидку, сообразно приливу – дабы и вовсе, как несмышленый мальчишка, не посадить лодку намертво. Кроме того, сами по себе спутники требовали внимания, и нема-

лого. Прежде всего, мгновенно было нужно решить, кого подобрать – а от кого, жертвуя выгодой, держаться таки подальше; потом, оказавшись уже в одной лодке, следовало поддерживать, так или иначе, беседу, выслушивать – а порою и отвлекать пассажира от всевозможных затей, пресекая поползновения: чего только, бывает, не придет в голову человеку за поездку всего-то длиною в *вонту*!

Перехватить медячок, приняв на борт попутного пассажира, по силам было кому угодно – изо дня же в день зарабатывать на жизнь перевозкой было занятием непростым. Прошло больше года, пока Мичи в достаточной мере освоился с новым своим ремеслом; даже и разобравшись уже, что к чему, *такке себя* он по-прежнему не считал, и рассматривал текущее состояние дел в качестве выбора исключительно временного. Положение было довольно странным: работать и соображать ему приходилось не меньше любого перевозчика, которому всякий день на воде добавляет опыта. Хорошему *такке,* однако, подобный опыт верно служил бы остаток жизни – вполне оправдывая цену, которой приобретался; что же касается Мичи, мечтой его все так же оставалось обсушить весла и покинуть, наконец, лабиринт городских каналов – желательно, поскорее и навсегда. Что же толку было ему тогда в изучении всех этих хитростей, которыми прямо таки изобиловало ремесло *такке* – как впрочем, пожалуй, и всякое прочее?

На втором году перевозки, однако, в хорошем знании Города Мичи открылся смысл, прежде не очевидный. Пришел он вместе с ощущением легкости – ибо само по себе занятие *такке* перестало поглощать его целиком, как это было прежде. Теперь Мичи почти уже не приходилось думать: где бы свернуть, с какой стороны зайти; не нужно было напряженно высматривать опасные камни, торчащие тут и там; не было нужды гадать, сумеет ли лодка его протиснуться в сомнительную лазейку. Легко расходился он и с прочими лодками, предугадывая чужие маневры – что, учитывая царившие на *воде* нравы, было значительным достижением. Все это больше не занимало Мичи; он делал свое дело, уделяя тому внимания не больше, чем требовала сама обстановка – иногда мгновенно собирался для сложного хода, но большей частью орудовал веслом размеренно и спокойно. Мастерство пришло незаметно, и работа не была уже теперь ни ежедневной борьбой, ни чередою опасных происшествий. Теперь Мичи отчасти даже и понимал умелых, бывалых *такке:* глядя прежде на рваную, дерганую их манеру вести лодку – будто не было в целом мире важнее дела, чем выиграть жалкую *панту* времени – обыкновенно он то негодовал, то поражался глубине глупости человеческой, неистребимой и разрушительной. Создавать столько опасностей, себе и другим – и ради чего? Однако же все эти резкие их движения, внезапные повороты, попытки непременно пробраться путем кратчайшим – хоть бы, казалось, и вовсе непроходимым – при очевидной своей бессмысленности оставались способом как-то скрасить однообразие повседневности. Освоившись в Городе, наловчившись вести лодку хорошим ходом, справившись с обычным для новичка напряжением, всякий *такке* неизбежно оказывался лицом к лицу с худшим своим противником: скукой – и, так или иначе, ввязывался с ней в войну затяжную и безнадежную. Каждый вел ее, как умел и считал нужным. Избавившись от необходимости вкладывать всего себя, целиком, едва ли не в каждое движение весла, новоприобретенной своей свободе Мичи нашел применение лучшее, нежели безумные гонки с другими возчиками. Он смог, наконец, разогнуться, поднять голову, оторвать глаза от воды, оглядеться по сторонам – и Город мало-помалу принялся открываться ему, показывать свои красоты и чудеса, поскольку изобиловал, как оказалось, уголками поистине удивительными, местами странными, мало кому известными. Мичи вглядывался в его старые, берегущие древнюю тайну камни; любовался роскошью ухоженных садиков, изящной вязью кованых ограждений, поражался замысловатым, перетекавшим одна в другую постройкам, что словно бы жили собственной жизнью – прирастали, карабкались ввысь и вширь, смы-

кались, развиваясь безо всякого плана и замысла, поглощали всякий клочок земли и нависали уже над водой, рушились, восстанавливались, сгорали порой дотла – и отстраивались заново неизменно, день ото дня меняя обличье Города. Мичи подмечал редкие теперь уже отдельные островки, бережно хранившие первозданную красоту старого Ооли, сам дух давно ушедшего времени; касался ладонями каменной кладки замшелых стен, пытался представить былое их назначение, вообразить себе жизнь тогдашнюю, размышлял о событиях, которым были они свидетелями и участниками. Вскоре уже открыл Мичи для себя немало замечательных уголков, оказываться в которых неизменно доставляло ему особое удовольствие – так что он старался не упускать случая, и выстраивал путь так, чтобы непременно пройти мимо какого-нибудь из любимых своих местечек. Мичи считал их уже своими – ибо красота и своеобразие по праву принадлежали всякому, способному разглядеть, оценить, понять. Основания древних башен, колонны былых дворцов, высокие арки Водовода и каменное резное кружево старых храмов – хоть бы теперь и служивших приютом дешевых гостиниц, торговых контор и сомнительных заведений – таковы были новые друзья Мичи, и он гордился и наслаждался той особой, молчаливой близостью, что складывалась теперь у него с Городом. Мичи жил в собственном своем Ооли – и Город его был совсем иным, нежели тот, что знаком был всем остальным, вечно занятым своими делами, едва ли умеющим посреди суеты житейской остановиться и осмотреться, прислушаться, задуматься, помолчать.

И так же точно, как стремился он разглядеть затаившуюся в обыденности красоту Города, приучился Мичи поглядывать и на своих пассажиров. Всякий раз, сталкиваясь с проявлением грубости и невежества – делом вполне привычным для городских обывателей – Мичи долго не мог прийти в себя; раздражение сменялось досадой, а сама мысль о том, что именно среди подобного сброда и придется ему провести остаток дней, представлялась невыносимой. Грязные, шумные, мелочные, сварливые, начисто глухие ко всему, что выходило за пределы самых, что ни на есть, простецких потребностей и удовольствий – такими представали перед ним *оолани;* таковыми, пожалуй, они, в большинстве, и были: что правда, то правда. И все же, малопомалу, наловчившись кое-как улаживать дела с этой публикой – освоить принятую среди *простецов* манеру держаться и разговаривать оказалось не сложно, однако довольно-таки противно – Мичи начал даже и в людях порой подмечать кое-какие проблески, отсветы, отпечатки; по едва уловимым черточкам учился он угадывать человека, не до конца еще растратившего себя в извечной битве за жалкий клочок места под солнцем. Пытался поначалу о чем-то с такими и заговаривать; быстро убедился, впрочем, что добраться до вещей по-настоящему глубоких, важных за одну короткую поездку не успеть никак – даже если беседа, что называется, задавалась. В большинстве же случаев спутники его, стоило разговору выйти хотя бы отчасти за пределы обыденности, либо тут же и замыкались, ощущая себя неуютно на незнакомой еще волне, либо резко возвращали ход беседы в привычное для себя русло: погода, цены, житейские неурядицы, лодки, дела гильдейские, любовные похождения, ну и – где, да чего, да с кем было сколько выпито. Тем не менее, в каждом своем пассажире, будь тот и *простецом* среди *простецов*, Мичи старался теперь разглядеть нечто особенное. Удавалось это ему, хоть и не в каждом отдельном случае, но, все же, не так уж редко. Красота присутствовала в мире – неуловимая, драгоценная; она вплеталась сияющей нитью в грубую ткань жизни, едва заметно проступая в ее плетении, охотно и щедро вознаграждая всякого, кто не жалел труда на ее поиски.

Что ни день, Мичи пополнял сокровищницу своих наблюдений примерами искренности и теплоты душевной, проявлениями случайной, неожиданной в *простеце* мудрости; радовался, услышав здравое суждение, наблюдая верный подход к жизни, столкнувшись с истинной зрелостью или, хотя бы, даже и просто хорошим вкусом. Обсуждать без особой нужды свои находки он не стремился теперь, приберегая их для себя – вместо того, чтобы смущать разговорами пассажиров, едва ли готовых к действительно откровенным беседам с *такке*. Позволял

себе разве что согласиться – верно, мол, хорошо сказано – да подметить порою, вслух, что-то вовсе уж очевидное, хотя и особенное. Славная у тебя накидка – говорил он, бывало, кому-то, явно приложившему немало труда, дабы хорошенько принарядиться. Вот же ручищи-то, а? – замечал, обращаясь к бывалому моряку, в тяжелой борьбе со стихиями закалившему и укрепившему свое тело так, что мышцы бугрились, перекатываясь под загорелой, дубленой кожей. Наградой ему становились порой поистине замечательные истории – подыграть человеческому самолюбию было делом простым и весьма полезным. Чаще, однако, обстоятельства не предполагали его участия, не оставляли подходящего места меткому замечанию: тогда Мичи осторожно себе приглядывался, по видимости занятый собственным делом; пытался составить о своем спутнике впечатление, представлял себе его жизнь – а если не мог представить, тут же запросто и выдумывал.

Особое удовольствие доставляло ему наблюдать за влюбленными парочками: тем, обычно, не было до *такке* ни малейшего дела, так что можно было свободно бросить и взгляд-другой. Настоящее чувство Мичи буквально чувствовал кожей: между людьми, всерьез увлеченными друг другом, происходило нечто особенное, вовсе не похожее на обыкновенную встречу похоти и расчета. За тех, кому выпало испытать счастье глубокой связи и подлинной близости, Мичи молча радовался – и всякий раз желал им, мысленно, всего наилучшего. Сколь бы редкой ни была сама по себе вспышка чувства, что сплавляет отдельных прежде людей в единое целое, окружает их собственный, один-на-двоих мир стеною словно бы легкой, прозрачной дымки – сложнее всего было сохранить это чувство, пронести его сквозь время и обстоятельства, не позволить ему потерять остроту, истрепаться, сойти на нет в череде повседневных дел. Потому драгоценнейшими среди собственных наблюдений полагал Мичи те, что связаны были с людьми пожилыми: пару стариков, не утративших былой нежности, не растерявших на долгом своем пути первоначальных чувств, встретить ему выпадало редко – и всякий раз подобная встреча наполняла его неизбывной радостью, торжеством даже. Все-таки можно – думал он, наблюдая примеры тех, что сумели не растратить своей близости, сохранили, не позволяли ее источнику иссякнуть и пересохнуть – у кого-то ведь получается!

Сходные чувства вызывала в Мичи не только любовь, прошедшая испытание временем. Старики, в большинстве своем, были пассажирами не из лучших: склочными, брюзгливыми, желчными, раздражительными. Как никто, умели они отыскать повод к очередной придирке – если Мичи и умудрялся порой провести лодку так, чтобы не послужить мишенью для бесконечного потока ругани и злословия, сам этот поток, однако же, будто лишь набирал силу, обращенный буквально на все вокруг: новая застройка была ужасной, а старая – слишком ветхой, уродливой и давно подлежавшей сносу; городские уложения выходили одно глупее другого, а горожане, все до единого, представлялись нарушителями устоев и врагами общественного порядка, которых – сил уже нет, как заждались на Монке и Лиибури. Честный человек обречен был теперь влачить жалкое существование – а корнем всех городских зол была неизбывная нищета, потому что лишь человек обеспеченный мог служить опорой всеобщего благоденствия. Одеяния горожанок служили явным свидетельством распущенности и суетной озабоченности собственным внешним видом, а настоящей красоты в Городе вообще теперь не встречалось – не то, что во времена далекой и славной молодости. Как выяснялось, перевелись в Ооли также и стоящие поэты, художники, музыканты – что же касается подросшего поколения, то его глухота ко всему прекрасному была поистине беспросветной: Город теперь населен был всяческим сбродом, отребьем, толпой недоучек, пьяниц, бездарей и мошенников. Вступать в споры с подобными пассажирами Мичи, естественно, избегал – проще было время от времени кивать головой, как бы признавая правоту вдохновленного собственными тирадами собеседника. Сильно кривить душой при этом не приходилось – основания для подобных речей

имелись, доводы нередко оказывались вполне убедительными, а положение дел в Городе, и верно, оставляло желать лучшего – на воде Мичи успел насмотреться всякого. И все же встречались ему порою старики и совсем иные: будто освещенные изнутри заходящим солнцем, полные по-прежнему жизнелюбия или же тихой радости, погруженные в свои воспоминания и размышления – а то и, наоборот, с любопытством приглядывавшиеся ко всему вокруг, наслаждаясь самим течением жизни, потоком безостановочных перемен, что отражался на облике Города, проявлялся в смене времен года, покрое платья, слышался новыми оборотами в обиходной речи. Рядом с такими, чья старость явно была итогом хорошенько – по собственному их слову – прожитой жизни, Мичи неизменно наполнялся решимостью и надеждой, и пример их всякий раз придавал ему силы и вдохновения. Чтобы сохранить в себе такую открытость, способность подмечать мгновения красоты, наслаждаться их драгоценной россыпью – начинать следовало немедленно, прямо уже сейчас; на это Мичи и не жалел труда, приглядываясь не только к изящным формам столичных красоток, богатым особнякам и лодкам ценою в свой годовой доход, но и ко всему, что содержало в себе красоты ничуть не меньше – всякому доставаясь, притом, совершенно бесплатно, даром. Кружение птиц в полуденном ясном небе, игра солнечных бликов в волнах, медленное течение облаков, мерные всплески собственного весла; чьи-то пришедшие в память строки; отдельные лица, выхваченные взглядом в пестрой толпе горожан – и отдельные голоса, слившиеся в ровное это ее гудение; яркие накидки с длинными кисточками – всевозможных, немыслимых порой цветов и оттенков, а то даже и башмаки случайных его пассажиров. Ни одна пара, казалось, не повторяла другую, каждая чем-то, да отличалась от всякой иной, порою красноречиво сообщая немало интересного касательно своего владельца: высокие *ирми,* украшенные цепочкой проделанных в коже отверстий; грубые, явно видавшие виды *канга,* чиненные-перечиненые, сменившие, возможно, не одного владельца; плетеные *амаги* на толстой подошве; легкие, воздушные будто бы туфельки небесного цвета рядом с парой свеженадраенных по всем правилам, до тусклого, глубокого блеска *вайдри*… Все они вовсе не прочь были рассказать собственную историю, и Мичи внимал смутным голосам, несущимся отовсюду – не умея, возможно, разобрать их еще отчетливо, но вполне очарованный и дивным многоголосием мира, и пробуждающейся своей, крепнущей мало-помалу способностью слышать, смотреть, чувствовать.

Склонный по природе к уединению, он – не окажись волею обстоятельств в самой гуще извечной городской суеты – едва ли за целую жизнь повстречал бы стольких, да еще и так мало похожих один на другого людей. Не находя, по-прежнему, и малейшего намека на *общность* с ними – да не так уж остро в ней и нуждаясь – он довольствовался радостями стороннего наблюдателя, и положение это, позволявшее соприкоснуться с невероятным многообразием проявлений жизни, находил наиболее для себя подходящим. Здесь, на *воде,* он впервые по-настоящему увидел и узнал то, что выходило далеко за пределы собственных его представлений, простиралось куда шире круга его интересов; он побывал в местах, о существовании которых не подозревал прежде, и где едва ли бы оказался по своим делам – да и, вообще, по собственной доброй воле. Мичи был совсем не уверен, что увиденное, услышанное, обнаруженное ему нравилось; чаще – наоборот, но опыт его, тем не менее, день ото дня становился богаче, а ворох собственных впечатлений – не вычитанных у кого-нибудь на досуге, а именно пережитых – все пополнялся, пестрел теперь всевозможными красками. *Ойе долгих воспоминаний* вполне уже было, из чего выбирать – и она высвечивала одну за другой картинки недавнего прошлого, сплетая из них полную смысла историю, разворачивая перед внутренним взором Мичи упорядоченную подборку свидетельств того, что годы его на *воде* прошли вовсе не напрасно, но послужили, напротив, ценным, а то и вовсе необходимым отрезком пути его становления.

Помимо созерцания городских красот, знакомства с самыми укромными среди очаровательных уголков Ооли, сквозь череду случайных встреч и поверхностных впечатлений, служивших Мичи примерами жизни достойной – или, чаще, наоборот – *вода*, мало-помалу, как то ей и свойственно, производила в самом характере Мичи перемены глубокие и устойчивые. Поначалу – теперь Мичи неловко было об этом и вспоминать – он оказался совершенно обескуражен этим мощным, вовсе непривычным еще ему потоком того, что принято было считать настоящей жизнью. Он буквально тонул и захлебывался в водовороте низменных человеческих проявлений, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться. Держаться ему было решительно не за что: прежние его устремления, взгляды, манеры, привычное состояние духа не выдерживали прямого столкновения с грубой действительностью. Слишком открытый, чувствительный, впечатлительный, деликатный – к тому же еще вечно занятый собственными мыслями, а потому и слегка рассеянный, он служил будто живой мишенью бесконечным насмешкам, поддевкам, не раз поддавался на чью-то хитрость, оставаясь жертвой обмана запросто. Большой беды в этом, впрочем, не было: позднее сам же Мичи полагал, что все тогдашние злоключения пошли ему, безусловно, впрок. Прежде, еще до *воды,* ему бы и в голову не пришло обзавестись тем, что сам он назвал бы теперь своего рода раковиной, прочным панцирем, помогающим выдержать столкновение с миром, защитить драгоценное внутреннее содержимое. Необходимость в этом, однако, существовала – рано или поздно Мичи пришлось бы все же взяться за нелегкую эту, совершенно несвойственную ему задачу: выстроить некий барьер, ограждающий его от воздействия всякого зла, в изобилии в мире представленного. Надежда как-нибудь отсидеться, избежать соприкосновения с этим злом была, очевидно, вполне беспочвенной: сколь бы высоки ни были в человеке устремления и побуждения, всякому день за днем приходилось иметь дело с самой, что ни на есть, обыкновенной жизнью – и у этой жизни были свои правила и законы. Понимать их, принимать как данность – а затем научиться и обходить, не позволяя всяческой скверне проникать внутрь, в самую глубину своего существа – так видел теперь Мичи одну из важнейших целей на пути своего развития, созревания. Совершенно неприспособленный поначалу к той жизни, в гуще которой случилось ему теперь оказаться, Мичи пытался нащупать, отыскать собственный верный способ взаимодействия с этим странным, во всех отношениях, миром – что оставался, однако, родным домом большинству горожан. Открываться миру навстречу было делом явно небезопасным – здесь всякая уязвимость служила призывом к немедленному нападению, а любые убеждения непременно подвергались проверке на прочность. Оставаться в подобных условиях собой – прежним собой, привычным – возможности больше не было; приходилось меняться, многое перестраивать – даже внутри, не говоря о поверхностных проявлениях. Пытаясь выжить в этом незнакомом еще пространстве, приспосабливаясь к нему, Мичи и не заметил, как заигрался. Сам он, конечно, едва ли назвал бы тогдашние свои переживания и поступки игрой: для него все было всерьез – даже и слишком всерьез, пожалуй. В этой серьезности, с которой он привык подходить ко всему в жизни, и заключалась опасность – не очевидная, поначалу. Мичи учился быть похожим на прочих людей – тех, кого изо дня в день катал в своей лодке, пропитания ради. Постепенно он отвык отвечать на вопросы искренне, говорить о том, что считал важным; быстро пришел к выводу, что всякую мысль, для пущей доходчивости, непременно следовало сдобрить изрядным количеством выражений крепких, забористых – вместо того, чтобы объясняться привычным ему внятным, вменяемым языком. Смысл высказывания при этом нередко терялся напрочь – однако собеседники отчего-то находили беседу в таком ключе вполне для себя естественной, так что вскоре Мичи и не пытался уже выразиться иначе. Чуткий к несправедливости, первое время он оставался внимателен и участлив ко всякой чужой беде. Короткое время спустя – убедился, что потоку житейских неурядиц не видно конца и края, и не поддавался уже порыву, побуждавшему его откликаться любой нужде: сколько бы ни помогал он, в меру скромных своих возможностей, жертвам печально сложившихся обстоя-

тельств, как бы часто ни приходил на выручку – ни жертв, ни самих этих обстоятельств меньше не становилось; в бездонный этот колодец можно было влить без остатка все свои силы, не наполнив и на ладонь. Отвечать оскорблением на оскорбление, равно как и давать волю собственным чувствам, Мичи решительно избегал – терпеливо сжимал зубы и греб, греб, работал веслом, торопясь поскорее отделаться от очередного «сокровища»; вступать в перепалку в его намерения не входило вовсе, а всякая стычка так нарушала душевное равновесие, что лучшим выбором казалось любой ценой постараться не доводить дело до явной ссоры, хоть бы и молча снося подначки самого откровенного свойства. Год спустя Мичи едва ли уже было и отличить среди прочих *такке.* Вид он имел хмурый, говорил коротко и отрывисто, добрую половину звуков, как и принято было, не выговаривал, помогать посторонним людям уже не рвался – да и, вообще, проходил подчеркнуто равнодушно мимо всего, что напрямую его не касалось. Выучил он и немудрящий набор шуточек, вполне заменявших окружающим искреннюю беседу – вворачивал их теперь уже не задумываясь, к месту, или не к месту. Выходя из дома, будто натягивал на себя личину бывалого перевозчика, да так и носил ее целый день, не ощущая больше первоначального неудобства. Личина эта оказалась вещью до того полезной, что первое время Мичи не мог и нарадоваться, что кое-как удалось ему все же ею обзавестись; мир оставил его, наконец, в покое: теперь он вполне сходил здесь за своего – *такке,* как *такке* – а что уж там творится у человека внутри, да каков он есть, едва ли кого на *воде* заботило. Мичи оброс, наконец, панцирем, способным защитить нежную мякоть внутреннего пространства от грубого посягательства – чем и гордился теперь немало. Истинную опасность он осознал позже – и до сих пор едва мог понять, как удалось ему вовремя спохватиться. Первоначальным его намерением было позволить самому внешнему, поверхностному слою своего существа несколько огрубеть, приобрести должную прочность – лишь настолько, как требовали того обстоятельства. Однако, такое окостенение вовсе не желало останавливаться, ограничиваться: день за днем оно проникало, казалось, все глубже внутрь, так что еще немного – и вскоре уже не осталось бы ничего, не охваченного, не пропитанного насквозь подобным, без преувеличения, омертвением. Теперь Мичи понимал, как становятся настоящими *такке, шапта,* трактирщиками, матросами, шлюхами, судомойками, *каспи,* уборщиками, смотрителями: дело было совсем нехитрым – вот только цена его никоим образом не устраивала. Свести себя к незамысловатой роли, играть ее изо дня в день, отвечать ожиданиям окружающих, соответствовать, оставаться понятным и предсказуемым, избегая чудачеств, странностей, не высовываясь – таков был готовый рецепт спокойной и сытой жизни. Должным образом обрядиться в личину было поначалу непросто; расстаться же с ней потом, даже и при желании, казалось делом почти уже невозможным. Если вначале Мичи порой забывал надеть ее – да так и отправлялся на промысел, можно сказать, нагишом – то вскоре, все чаще, забывал, а то и ленился скинуть по возвращении: так и ложился спать, перевозчиком. Рабочую одежду свою – заскорузлую, просоленную, пропахшую крепко потом – он тоже, к слову, отвык перестирывать ежедневно; шел на незначительную эту себе уступку, удобства ради: все равно ведь завтра опять, туда же. Вымотавшись порою донельзя, так и засыпал прямо в ней, не потрудившись даже раздеться толком. Перевозчиком же начал вскоре и просыпаться – и вот уже про себя даже, в одиночестве, перемежал мысли привычной бранью, так что терялись и сами мысли, а в голове оставались одни ругательства да проклятия – неважно уже, по какому поводу. Точнее, поводы находились – уж в чем, в чем, а во всяческих неудобствах и несуразностях жизнь *такке* недостатка не знала. Так и подворачивалось, одно за другим – покуда глухое, тупое, топкое раздражение не начинало казаться состоянием вполне естественным и оправданным – как же иначе-то? – а вспышки совсем уж острого негодования не остались, в конце концов, единственным по-настоящему сильным чувством. Преодолению этой трясины Мичи и посвятил, по сути, последнюю пару лет. Ужас положения заключался в том, что насовсем избавиться от личины, вполне ему отвратительной, он позволить себе не мог: как-никак, она служила ему на *воде* исправно

– вот только имела склонность проникать все глубже, мало-помалу поглощая лучшие его чувства, прилипая намертво, поглощая, замещая его собой. Необходимость ежедневно поддерживать хрупкое равновесие между вполне беззащитной искренностью – и этой крепкой, проверенной, не одну передрягу прошедшей, немалым трудом наработанной внешней грубостью стала для Мичи делом, возможно, во всей его жизни наисложнейшим. Переключаться, глядя по обстоятельствам, между этими состояниями – а точнее, отыскивать некую, единственно подходящую прямо сейчас, соответствующую положению дел точку меж полюсами, и пребывать в ней, сохраняя готовность немедленно сместиться в ту сторону, что потребуется – этому искусству Мичи учился хотя и вынужденно, но все же не без некоторого для себя интереса. Первым делом на ум ему приходило очевидное сходство между таким занятием и наукой обращения с парусами. Лавировать в жизненных обстоятельствах было столь же непросто, как танцевать с ветром, всякую его перемену умея поставить себе на службу – учиться этому можно было всю жизнь, добиваясь того уверенного, быстрого, плавного хода судна, что служит наградой внимательному и толковому мореходу. Мичи, однако, больше нравилось сравнивать новую свою задачу с приготовлением ароматного паштета *врути.* Главной заботой повара было добиться ровной и крепкой хрустящей корочки – непременно, при этом, сохранив начинку мягкой, сочной, едва тронутой действием жара, свежей. Мичи случалось отведать хорошего *врути* – удовольствие явно оправдывало и потраченное время, и все поварские хлопоты. Нежнейший паштет – стоило чуть передержать его на огне – спекался, затвердевал, схватывался, превращаясь в то, что столичные ценители гастрономических радостей презрительно именовали «подметкой», не преминув и касательно повара пройтись в духе: какой, однако, славный пропадает сапожник! Румяной корке полагалось быть непременно тонкой – ровно такой, чтобы придать паштету видимость единой, законченной, плотной формы; смысл же всего блюда заключался в начинке: мягкой, разве что только не вовсе жидкой – так что ни в коем случае нельзя было допустить излишнего пропекания. Внутреннему и внешнему полагалось всячески дополнять друг друга. Мичи увлеченно осваивал эту новую соразмерность, изо всех сил пытался поймать, почувствовать отношение, что в точности соответствовало бы содержанию данного, отдельно взятого мига – и сам же первым готов был признать, что бесконечно далек от мало-мальски заметных успехов, не говоря уж о совершенстве. Тем не менее, игра эта увлекала его все больше – так что благодарность *воде,* столкнувшей его с насущной необходимостью осваивать умение жить среди прочих людей, походить на них, не теряя при этом и подлинного себя, росла в нем день ото дня. *Вода* учила его, взращивала; уроки ее были нередко грубыми, суровыми даже – но неизменно помогали Мичи расти, преодолевая, превосходя себя прежнего. Уже и сама по себе эта способность к росту, происходящему через именно расширение знакомых границ, через ежедневное их перешагивание, была для Мичи открытием; открывались ему вещи поистине удивительные, прежде в себе неведомые. Так, понемногу, узнавал он меру собственных сил – и замечал, оглядываясь, что давно уже перерос прежние представления о себе и своих возможностях. С удивлением обнаружил Мичи, что располагает немалым запасом прочности – не то, чтобы неисчерпаемым вовсе, однако же вполне позволяющим всякий раз восстанавливать равновесие, то и дело нарушенное волею обстоятельств. Внутренняя его остойчивость росла себе понемногу – да так, что события, способные прежде вывести его из себя надолго, теперь едва отражались на душевном его состоянии. Понимание это пришло не сразу, но какое-то время назад Мичи со всей ясностью осознал, как мало в действительности имеет значения любое отдельное событие в бесконечной их череде. Ни одна поездка, даже и самая удачная, не могла, по большому счету, сделать его человеком богатым. Всякий бы радовался, заработав за *вонту кошти* – что, хоть и редко, все же порой случалось; но будь то не *кошти* даже, а добрая четверть *меры* серебра – да хоть бы и целый сияющий, новенький золотой – что, по большому счету, менялось от этого в самом течении жизни? Так или иначе, неожиданному прибытку тут же нашлось бы и применение: разумно было бы подлатать любую из требовав-

ших внимания прорех, которыми так и пестрела повседневность; еще разумнее – приберечь монетку, припрятать на всякий случай. Или, напротив, позволить себе ненадолго передохнуть от изнурительной борьбы с обстоятельствами – сделать себе случайный какой подарок, именно своей неожиданностью более всего и приятный, а то и провести целый вечер со вкусом и удовольствием, наслаждаясь не столько даже обществом прекрасной спутницы, изысканностью напитков и яств, сколько самой возможностью приподнять будто голову над водой, перевести дух, дать волю сведенному напряжением телу, застывшим чувствам. Все это было прекрасно – но не далее, как на следующий же день обыденная жизнь неизменно вступала в свои права, а потому, подавив вздох и бережно смакуя волшебное послевкусие, оставалось лишь поудобней усесться в лодке, да и налечь на весла. Понимая это, Мичи не слишком гнался за длинной ходкой, не пытался выторговать непременно лишнего медяка – соглашался на цену, что предлагали, находя ее обыкновенно вполне разумной; радовался, получая порою больше, нежели сам рассчитывал – но большого значения подобной удаче не придавал. Так же точно приучал он себя относиться и к неприятностям. При внимательном рассмотрении, ни одна из них не могла всерьез оказать на него существенного влияния – любая неурядица рано или поздно заканчивалась, всякое затруднение разрешалось. Не было еще случая, чтобы, так или иначе, не удавалось ему отделаться от даже и самого отвратительного пассажира; из любого, пусть бы и весьма заковыристого тупика, непременно находился какой-никакой, но выход; мерзостная погода, как бы долго ни продержалась, сменялась все же деньками солнечными, сухими, теплыми. Что касалось и самой большой опасности – а именно, повредить лодку – то и такое происходило уже не раз: напороться в потемках на острый камень было проще простого. Тем не менее, лодка его была по-прежнему на весьма хорошем еще ходу, и даже вид до сих пор имела не самый жизнью потрепанный. Переживать, следовательно, по поводу всяческих пустяков было не обязательно – и Мичи старался непременно рассматривать любой досадный случай как дело временное, не позволяя себя захлестнуть ни страху, ни обиде, ни раздражению.

Значение имела, прежде всего, размеренность: что удачный, что неудачный день не оказывал решающего влияния на его жизнь, но должное усилие – равномерное, постоянное – непременно же приносило свои плоды. Мичи сравнивал такое положение дел с восхождением по лестнице в *великую меру* длиной. Перешагнуть пару ступеней сразу было заманчиво – правда же заключалась в том, что никому не под силу пройти такой путь на одном дыхании. Будь *мера* одной-единственной, всякий легко одолел бы ее, прыгая хоть по две, а хоть бы и по четыре ступени в раз. Крепкий телесно человек прошагал бы и *полную меру*, едва запыхавшись. Но *великая* содержала в себе *полную меру* таких вот *полных* – и единственным способом пройти весь путь оставалось двигаться – не отступая, не останавливаясь, но вовсе и не спеша, сберегая силы, рассчитывая. Что пользы в стремительном беге, в больших скачках, если потом все равно приходится долго сидеть, переводя дыхание? Стремиться, не разбирая дороги, вверх – чтобы вдруг оступиться, скатиться кубарем? Нестись на пределе сил – а на полпути, выдохшись, отступить, потерять решимость? Всякий день на *воде* верно приносил Мичи желанный *кошти* – и это помимо средств на простые нужды. Приносил, безусловно, в среднем; переменчивая удача превращала ремесло *такке* едва не в подобие азартной игры – что в нем, собственно, многих и привлекало. Тем не менее, *кошти* складывались в ровные стопки на дне старого сундука, а сами дни на *воде,* благодаря которым скромное состояние Мичи неуклонно прирастало и умножалось, составляли его жизнь – не единственно, конечно, возможную; далеко не самую и желанную – однако же, вполне настоящую. Говоря откровенно, Мичи даже и не был вполне уверен, что ему вообще суждено добраться к намеченной своей цели: обрести то, что сам он называл про себя *средствами к странствию* - заимствуя у *ангамани* одно из ключевых понятий их возвышенной философии, едва ли отделимой от граничащего с волшебством умения обстряпывать дела житейские. Однако же просто жить – ото дня ко

дню, как было обыкновенно у горожан, без этой далекой точки на горизонте, что единственно и могла придать повседневности некую видимость, хотя бы, смысла – не устраивало его совершенно. Поменять направление можно в любое время – полагал он – но куда бы его в итоге не занесло, такого будущего, где немалым теперешним трудом добытые *средства к странствию* окажутся не нужны, он представить себе не мог. Следовательно, поступал он дельно, оставаясь верным своей решимости, преодолевая себя порой, прикладывая усилие, бережно сохраняя полученную награду. Стопка монет, прираставшая день за днем, согревала душу – но даже более ценным казалось Мичи само открытие в себе источника этой силы, что позволяла ему оставаться на *воде* вопреки всему: погоде, удаче ли, настроению; что бы там ни было, поздним утром он выводил на воду свою лодку – и должно было произойти нечто вовсе уж несусветное, чтобы заставить его вернуться домой раньше, нежели заходящее солнце коснется края Кольца. Так положил он себе однажды – и теперь будто черпал силу в самой этой долгой цепочке дней, что удавалось ему так держаться.

Когда случалось ненастье – от настоящих штормов, конечно, окруженный Кольцом Город был защищен неплохо, но поливало с неба, порою, как из ведра – Мичи на промысел поначалу не выходил, оставался дома: читал, записывал кое-что. Но как-то решился все же; день этот помнился ему долго: выдался он тяжелым, но до того прибыльным, что с тех пор Мичи не упускал возможности хорошенько подзаработать. Когда льет, *такке* не сыщешь – а если дела не ждут? Если занесло так, что домой не добраться? Платят вдвое, вчетверо – свези уж только. После каждой ходки Мичи казалось тогда – все, сдаюсь, не могу больше. А тут снова с причала машут, и еще, и еще – успевай только. И успевал ведь. Продержался до вечера. Заработал почти золотой: полную сумку, обычной-то медной мелочью. И это за день! Но было и еще кое-что, кроме денег – это вот самое чувство: *можешь*. Словно бы что-то, до поры дремавшее в нем, проснулось вдруг, проявилось – и Мичи старался запомнить само ощущение торжества, пришедшее в этот миг – сразу, едва удалось ему что-то перешагнуть в себе. Плохо было только в начале; потом он уже ничего не чувствовал – ни дождя, ни ветра, ни липнущей к телу одежды, промокшей насквозь. Не чувствовал затекшей спины, стертых ладоней: мысли будто остановились, и даже вполне понятный, в подобных-то обстоятельствах, поток сетований прервался, так что вскоре оставались уже только сам он, один на один с превратностями стихии – да верная его лодка, ожившая будто, послушная, чуткая к любому его движению.

В бешеный этот день, на *воде*, Мичи открыл для себя незнакомую прежде силу – и продолжал открывать, благо возможностей к тому отвратительная здешняя зима неизменно предоставляла в неисчерпаемом изобилии. Сила таилась там, где смолкало негодование и сожаление, где не было уже места сомнению, колебанию: не пора ли, не бросить ли все уже, не вернуться ли? Сила таилась внутри, пряталась там – чтобы в какой-то миг рвануться вперед стрелой, для которой есть только полет и цель, остановка – немыслима, возвращение – невозможно. Ощущать ее у себя внутри, будто крепкую тетиву, неизменно готовую к натяжению, напряжению, к решительному такому рывку, было для Мичи поистине удивительно. Человеком силы он никогда себя не считал, так что, даже и обнаружив, что не вполне лишен этого качества, нипочем не стал бы его выпячивать, выставлять на всеобщее обозрение. Сила была для него делом сугубо внутренним, требовавшим еще, к тому же, немалого освоения, осмысления – а потому, даже и при удобном случае, ему бы и в голову не пришло с кем-нибудь ею помериться, как заведено это было у *простецов*.

Приглядываясь к людям, Мичи научился уже подмечать в человеке силу, как некое особое качество – и без малейшего смущения готов был признать, что многие наделены были этим даром с куда большей щедростью, нежели сам он: кто от рождения, кто волей сложившихся обстоятельств, а иные – взрастив в себе, шаг за шагом, из той крупицы, что присутствует

изначально в каждом – как известно было Мичи по личному уже опыту. Понимал он также, что сила, как таковая, оставалась путем, вполне ему чужеродным – могущество, власть, влияние, столь притягательные, желанные едва не для всякого *оолани*, оставляли его неизменно вполне равнодушным и безучастным; собственные его устремления требовали не столько прямой, откровенной силы, сколько вдумчивости, внимания, понимания. И все же наблюдать полноту проявленной в человеке мощи и крепости неизменно было ему приятно. Такие люди запоминались; производили, что называется, впечатление. Услугами его случалось воспользоваться и бывалому моряку, и гильдейскому мастеру; доводилось Мичи перевозить и *старейшину,* и богатого судовладельца, даже как-то и капитана городской стражи; попадались ему порой оборотистые купцы, часто – хозяева разного рода увеселительных заведений: люди, словом, серьезные. Сила, которой необходимо требовал сам род их занятий, угадывалась в таких отчетливо, не проявляясь, однако, в открытую: перевозчиком Мичи был, все же, толковым и расторопным, да и собеседником вполне приятным – не на что и пожаловаться: знай, сиди, да и наслаждайся себе поездкой. Ни малейшего повода к недовольству Мичи старался своему пассажиру не доставлять – а потому так и не удосужился натолкнуться на чью-нибудь силу в действии. Кто имел ее, понапрасну выпячивать не стремился – из уважения, хотя бы, к самой ее природе. Некая особая даже сдержанность казалась Мичи общей чертой в людях влиятельных, имевших определенный вес – в своем ли кругу, а то даже и в целом Городе. Порою, однако, занятие пассажира никак не угадывалось – сила же ощущалась немалая. Одно дело – везешь, бывает, кузнеца, с этакими чугунными кулачищами, и понятно все: могучий человек, крепкий, с одного удара лодке днище бы проломил – да ведь не станет, не та порода. А попадались – ничем и не примечательны с виду люди, ни одеждой не выделяются, ни манерами, да и ехать им от причала к причалу – особых выводов и не сделаешь; только чувствуется в них такое, что Мичи распознавать давно уже приучился с ходу, говорящее ему будто: осторожнее надо бы. Осторожнее. И все же настоящая мощь, если уж в человеке присутствовала, проявиться поводов не искала – напротив, если уж только никак иначе не выходило, нехотя будто себя показывала, по случаю, в соответствующих тому обстоятельствах – которым Мичи, конечно, причиной не был.

Что же касалось задиристого нрава городских обывателей, то был он делом общеизвестным и доставлял Мичи немало сложностей: отчего-то едва не всякому представлялось, будто при каждом удобном случае непременно нужно показать себя человеком решительным, волевым, готовым к немедленному отпору, а лучше даже – к предупредительному, конечно же, нападению: мало ли? Могло ли что-нибудь быть страшнее, нежели показать себя трусом и слабаком, не способным отстоять собственное достоинство? Чем меньше уверенности ощущал в себе человек, тем чаще, казалось, встречался ему вызов, тем больше подворачивалось поводов к потасовке, тем острее виделись обиды и оскорбления, тем скорее вскипали в нем гнев, ярость и возмущение. Подобного рода публику Мичи давно уже наловчился распознавать. Серьезных неприятностей от них, впрочем, и не было – но даже самый тщедушный забияка и горлопан запросто мог основательно подпортить настроение едва не на целый день. Вероятность ни за что, ни про что получить пару увесистых зуботычин пугала Мичи не слишком: хоть и выходил он на *воду* вовсе не для того, чтобы оказаться втянутым в эти бесконечные их дурацкие свары – дойди до драки, он бы, пожалуй, не отказал себе в удовольствии дать, наконец, выход долго копившемуся своему раздражению.

Насилие, большинству представлявшееся единственно подходящим способом защиты и утверждения собственной чести – уж что бы под этим ни подразумевалось у *простецов* – вполне чуждо было не только самой природе Мичи, устройству его характера, но и, что казалось ему делом куда как более важным, противоречило всей совокупности его постепенно сло-

жившихся убеждений, медленно вызревавшему пониманию жизни, верного в ней пути. Он и рыбу-то ел не без некоторого уже содрогания, всякий раз изо всех сил стараясь не задумываться о том, что употребляет в пищу недавно живое еще существо, обладавшее какой-никакой собственной волей, желаниями, и – кто знает? – чаяниями, стремлениями, надеждами, страхами, пусть бы и смутно осознаваемыми. Но всякий ли человек – среди тех, что в последние годы ему встречались – так уж заметно превосходил вечернюю свою трапезу разумом, глубиной чувств? В подобного рода вопросы Мичи предпочитал глубоко не вдаваться, но и вполне отделаться от них не умел – особенно после прочтения некоторых весьма убедительных сочинений, призывавших искателя истины к отказу от всякой убойной пищи. Последовать такому призыву и ограничить себя в питании одними лишь водорослями, хоть бы и предлагавшимися в едва ли не бесконечном многообразии, Мичи не был еще готов, однако тех морских созданий, что приготовлялись живьем, есть уже больше не мог совсем – чем, безусловно, лишал себя немалой доли кулинарных впечатлений и радостей. Мичи признавал, впрочем, что в разрешении некоторых вопросов прямое проявление силы могло быть действием вполне уместным, и даже наиболее верным – но, призадумавшись хорошенько, в собственной своей жизни примера таких обстоятельств не находил вообще. Всякая неприятность, а уж любая ссора в особенности – это он видел с полной определенностью – начиналась задолго до того, как вырывалась наружу, проявлялась, превращалась в противостояние явное и открытое. Вовремя сказанное – или, что было порой сложнее – удержанное в себе слово решало обыкновенно исход стычки еще до ее начала. Избежать неурядицы, предусмотреть ее, остановить, отвратить представлялось ему неизменно ходом куда как более верным, нежели потом расхлебывать ее, вовсю набравшую ход. Подход этот требовал от него особого рода непрестанной внимательности – искусство предощущать направление хода событий, направлять его в подходящее русло было весьма непростым, но даже и само по себе это творческое вполне напряжение, необходимое для его освоения, доставляло Мичи своеобразное удовольствие. Снисходительно уже вспоминал он первый свой год на веслах – удивлялся, как еще, при тогдашней своей неотесанности, ухитрялся не огребать тумаков ото всякого своего пассажира. Ему – теперь ведь смешно и вспомнить – приходило порою в голову поправлять *простецам* привычное их произношение! Вполне ужасное, безусловно, произношение – грубое надругательство над древним и сладкозвучным языком *оолани* – но как же мало надо было иметь понимания, чтобы вот так подставиться? И для чего? Сделать мир лучше, прививая благородную книжную речь завсегдатаям городских кабаков? Воспитание *простецов* определенно не входило в круг его интересов, и никоим образом не ощущалось как насущная, личная жизненная задача. Вообще, применение силы в целях именно воспитательных – если уж иной подход себя не оправдывал – представлялось ему, знакомому с человеческой природой не понаслышке, даже отчасти необходимым. Имевших к тому призвание охотно приняла бы в свои ряды городская стража: избыток телесной мощи перед всяким распахивал двери гильдии, но дорогу к вершинам служебной лестницы открывала простому *каспи* именно сама склонность к поддержанию порядка, тяга к восстановлению справедливости. Дослужиться до завидного и весьма доходного положения старшины, не говоря о судейской должности, мог не всякий – одной только силы и здесь было никоим образом не достаточно. Порядок и справедливость для Мичи пустыми словами не были – но и желания посвятить свою жизнь служению закону он ни в малейшей мере не ощущал. Наблюдая вокруг себя всевозможные мелкие бесчинства, непрестанно творимые *простецами,* он не уставал сокрушаться по поводу явно недостаточной численности городской стражи: временами ему казалось, что неплохо бы приставить по *каспи* ко всякому питейному заведению, а лучше бы даже – лично к любому и каждому завсегдатаю этих мест; определенно, это могло сделать Город куда более приятным для жизни местом. Если мысли о потасовке приводили обыкновенно *простеца* в радостное возбуждение, то вероятность отведать крепкой дубинки – а всякий *каспи* немалое время посвящал упражнениям с этим грозным предметом, до нево-

образимых порой высот оттачивая мастерство обращения с простой деревянной палкой, что с давних пор принята была на вооружение городской стражей – да потом еще провести ночь в холодном сыром подземелье, не говоря уж о *мере* дней, которые затем, с пугающей неизбежностью, пришлось бы посвятить благоустройству родного Города – только подобная острастка и служила, кажется, большинству *оолани* единственной причиной поддержания хотя бы видимости относительно приличного поведения. Определенно, воспитательное воздействие грубой силы едва ли было переоценено – но Мичи явственно ощущал, что вопросы эти совсем не имеют к нему касательства. Собственно, он бы вообще предпочел оказаться в тех обстоятельствах, где необходимость в применении силы отсутствует напрочь, за неимением повода. Для этого ему не пришлось бы и покидать Города, в поисках лучших мест – вести жизнь утонченную и возвышенную можно было и прямо здесь; многим и многим – в этом Мичи был твердо уверен – удавалось и вовсе никак не соприкасаться с той городской изнанкой, что стала ему теперь если ли и не родной, то – во всяком случае – вполне обыденной и привычной. Дело было за малым – войти в маленький уютный мирок, населенный *ойадо,* владельцами лавок со старыми книгами и всяческими диковинами, искусными мастерами, поэтами и ценителями поэзии, вольными мыслителями, располагавшими досугом достаточным, чтобы вынашивать в тишине медленно созревающие жемчужины подлинных откровений, покровителями всяческой красоты, собирателями редкостей, хранителями стремительно исчезающего наследия старины, любителями изысканных полуночных бесед и самыми прекрасными в мире женщинами. Этому миру чувствовал он себя принадлежащим по праву – но оказывался неизменно всего лишь гостем; в таком именно Городе мог и хотел бы жить – и понимал отчетливо, сколь далек еще от заветной цели. Сама необходимость изо дня в день зарабатывать средства на пропитание делала его здесь чужаком: то был круг людей, бесконечно далеких не только от общения с *простецами,* но и от всякой, что ни на есть, вообще вынужденности, подневольности. Необременительная, легкая, приятная во всех отношениях жизнь накладывала на человека отпечаток особый, по которому всякому здесь легко было опознать своих; печать же постоянного напряжения, неизбежно лежавшая на человеке, не вполне свободном от повседневных забот и тягот, работающим не ради одного только удовольствия, но в силу насущной потребности, превращала его в этом мире не то, что совсем в изгоя – вежливость и обходительность была здесь нормой непререкаемой, а стесненные обстоятельства вызывали сочувствие вполне искреннее, хоть и весьма поверхностное – но все же, каким-то образом, не позволяла обреченному на неизбывные свои труды бедолаге ощутить себя в полной мере принятым, принадлежащим такому кругу. Кичиться богатством, выставлять его напоказ, мерить человека его достатком было бы здесь немыслимо: обыкновенные меж *простецами* пересуды о деньгах, как и всякое вообще беспокойство о делах житейских, низменных, почиталось за проявление явно дурного вкуса; в этом кругу подобным вопросам не полагалось и возникать – или, по крайней мере, разрешаться с изящной непринужденностью. По жизни следовало не пробиваться, но скользить с грациозной легкостью; порхать, не касаясь земли, наслаждаться этим полетом сквозь череду дней и ночей, наполненных теплыми встречами, глубокими мыслями, тонкими чувствами, яркими впечатлениями. В самом деле, можно ли было представить большую глупость, несчастье худшее, нежели жизнь, растраченная в унылом добывании средств к ее поддержанию? В круг этот попадали по-разному: по праву рождения, в силу удачно сложившихся обстоятельств, с чьей-либо помощью и содействием, а кто и своим умом. Не всякому благословенная праздность доставалась легко: многим пришлось немалым пожертвовать, потрудиться как следует, чтобы приобрести счастливое право ощущать себя здесь своим. Положиться в подобном деле на одну лишь удачу Мичи позволить себе не мог. Втайне надеясь на какого-то рода чудо, что однажды, возможно, позволит срезать изрядную часть пути, готовился он, однако, если потребуется, пройти его целиком: шаг за шагом, *кошти* за *кошти.* Пути оставалось много; впрочем, одна только мысль о чудесной жизни – той, где не будет места стражникам и смутьянам,

потным трудовым медякам и табачной жиже, смачной отрыжке и пошлым кабацким песням – наполняла его вдохновением вполне достаточным, чтобы прошагать его до конца. Двигало им отнюдь не тщеславие, не стремление уподобиться лучшим – собственно, ему вовсе не обязательно было бы и вращаться в этом великосветском кругу, заводить знакомства, поддерживать связи; вполне достаточной оказалась бы сама возможность вести ту жизнь, что единственно и казалась ему достойной и подходящей – не напоказ, но по внутреннему созвучию. Честолюбие, стремление к обладанию и влиянию оставались ему чужды; собственно, руководствуясь этими именно побуждениями, человек оказался бы в круге совсем ином. Богатство, слава и положение влекли на вершину общества людей совершенно иной природы – Мичи относился к ним с уважением, но никакого сродства не чувствовал: ни в целях, ни в способах. Милый его сердцу круг почитателей и творцов подлинной красоты во многом, конечно, пересекался с миром людей влиятельных; разделить их не представлялось возможным хотя бы в силу того, что тот же самый человек принадлежал порой и первому, и другому, успевая каким-то образом совмещать отправление судейских, скажем, обязанностей с участием в поэтических вечерах. И все же Мичи отчетливо видел разницу, на взгляд его состоявшую в том, была ли тяга к прекрасному – и возможность всецело себя ему посвятить – самоцелью, либо же оставалась приятным во всех отношениях дополнением, своего рода изящным, хотя и необязательным украшением. Кроме того, власть предполагала изрядную долю ответственности, известность накладывала свои обязательства, а приумножение состояния требовало непрестанного напряжения и внимания. По видимости вполне свободный, человек на высотах общественного положения оставался пленником круговерти своих забот едва ли не в той же мере, что и сам он, Мичи, по крупицам собиравший свои *средства к странствию* буквально на самом дне. Вырваться, выбраться, превзойти затягивающее, топкое влияние повседневности – вот что было его настоящей целью. И *вода,* казалось, будто подыгрывала ему, исправно обеспечивая прибыток пусть не большой, но верный – так, что мечта его не казалась вовсе уже несбыточной. Важно здесь было теперь иное: если в самой возможности освободиться однажды от бремени добывания средств на жизнь Мичи больше не сомневался, позаботиться следовало о том, чтобы не утратить посреди этой житейской грязи той самой внутренней чистоты, той благородной возвышенности помыслов, ради которой он, собственно, и трудился с таким упорством. Внешнюю сторону жизни совершенно необходимо было привести в соответствие внутренней – но, добиваясь той благодатной праздности, что подобает человеку горнего устремления, поистине обидно было бы растерять себя где-то на полпути, добраться к заветной цели самым обычным *такке* - разве что несколько побогаче. Опасность представлялась Мичи весьма серьезной: тяжелые жернова повседневности способны были перемолоть любое высокое чувство, а к светлым надеждам явно питали особенное пристрастие. Потому Мичи с некоторых пор принял себе за правило задаваться вопросом, как поступил бы на его месте, скажем, тот или иной из почитаемых им писателей и мыслителей. Верный ответ находился сразу: на его месте подобный человек вряд ли бы оказался; отсюда наиболее верным выводом представлялось отношение ко всему с ним происходящему, как своего рода недоразумению – досадному, но в силу временной своей природы отчасти почти забавному. Так или иначе, внутреннее равнение на лучших среди известных ему людей, как бы ни разделяли их время и обстоятельства, неизменно оказывало Мичи услугу неоценимую. Глядя на текущие события словно бы их глазами, он, и в самом деле, будто немного приподнимался надо всем, что составляло пока еще содержание и наполнение всякого дня, проведенного на *воде*. Мысленно Мичи как бы примерял заемную эту, чужую пока что мудрость – но и одолженная, она оказывала на его жизнь воздействие преображающее, почти волшебное.

Все в мире имело собственный путь – мудрость же заключалась в том, чтобы предоставить событиям идти своим чередом, а людям – поступать сообразно собственным побужде-

ниям. Всякий поступок имел последствия – так что, при некоторой внимательности, человек мог извлечь необходимый ему урок даже из личного только опыта, не говоря уже вовсе о кладезях мудрости, рассыпанной по страницам множества замечательных книг. Искавшему лучшей жизни дорога была открыта – тащить же кого-то к верному пониманию силой Мичи не нанимался, а потому не считал больше для себя правильным вмешиваться в людские судьбы. Да, Мичи определенно с некоторых пор повзрослел; он не отказывался теперь порою даже и спеть, если спутник его уж очень на том настаивал – больше того, втайне гордился тем, что отыскал в этой прежде тягостной для себя повинности определенное удовольствие. Так уж вышло, что обыкновение петь с перевозчиком утвердилось в Городе и давно вошло в обиход. Виною тому, возможно, были и сами *такке* – а точнее, склонность их скрашивать свой унылый, однообразный труд то залихватской пиратской песней, то печальной старой мелодией. Так или иначе, многие перевозчики, судя по всему, петь совершенно искренне обожали; беда была в том, что песен ожидали теперь уже от любого *такке* – так что и Мичи пришлось поневоле смириться с принятыми порядками. Предпочитая заниматься своим делом молча, раздумывая о всяческих интересных ему вещах, он тяготился и мучился ровно до той поры, пока не принял и эту часть своего ремесла как некую данность, по поводу которой – как и, скажем, погоды – вовсе не обязательно было испытывать вообще хоть какие-то чувства. Мокрый снег временами хлестал с унылого, свинцового небосвода; пассажиры просили песен. Спорить и возмущаться ни малейшего смысла не было. И вот тогда – весьма неожиданно – Мичи открылась в этом некая незнакомая прежде радость: содержание песен, большей частью свойства весьма похабного, более не смущало его уже; предоставляя выбор своим пассажирам – что неизменно воспринималось ими как знак особого уважения, а то даже и дружеского расположения – он присоединялся к пению, не вдаваясь особо в смысл, но голосом будто выплескивая из себя скопившуюся усталость, тоску и тяжесть, так что под конец поездки нередко ощущал себя едва ли не окрыленным. Мичи наслаждался этой незнакомой ему прежде легкостью, не вполне понимая ее природы, но и не ощущая в ней вовсе чего-то скверного. Особенно нравились ему старые напевы: густые, тягучие, большей частью печальные – такие он теперь и сам порой заводил, даже оставшись уже в благословенном своем одиночестве. Едва ли, впрочем, и сами пассажиры его понимали таинственную эту силу – но воздействие музыки, даже и самого плохонького пошиба, неизменно располагало их на дружеский лад: в самом деле, нелегко было одновременно изводить перевозчика подначками да придирками – и тянуть даже самую, что ни на есть, дурацкую песенку о сравнительных постельных достоинствах каждой девчонки из бесконечного послужного списка некоего неведомого гуляки. Наступавшей в итоге всеобщей гармонией Мичи дорожил более всего на свете – и если средством ее достижения оказывалось совместное исполнение подобного рода сочинений, то присоединиться к пению представлялось ему делом вполне уместным. Времена, когда он правдами и неправдами пытался отбиться от настойчивых музыкальных запросов подгулявшей публики, остались в далеком прошлом: спеть было всяко проще, нежели объяснить *простецу* настоящую причину своего нежелания. Что, кроме явного неуважения, мог увидеть его пассажир в отказе? И что могло *простецу* показаться хуже? Попытки поделиться своим пониманием хорошей поэзии Мичи давно оставил: здесь, на *воде,* он едва ли мог встретить подходящего собеседника. Поначалу он непременно еще старался объясниться как следует, приводил даже примеры стихов, что казались ему прекрасными, сравнивал со словами всякому здесь привычных песен, терпеливо показывал очевидную ему разницу – но, в конце концов, решил оставить для собственного пользования утонченное свое восприятие, как всякий раз и советовали ему пассажиры, в выражениях откровенных и недвусмысленных. Вообще, проявлять на *воде* лучшие свои стороны Мичи давно зарекся: не без некоторого сожаления ему пришлось признать это неуместным, не подходящим, не соответствующим сложившейся совокупности обстоятельств. Не выпячивать, даже и совсем не выказывать больше личного представлялось ему выбором верным, хотя и слож-

ным: цельностью своей он весьма дорожил, и делить себя пополам, обращаясь к миру лишь одной стороной – и вовсе не лучшей, однако единственной, которую тот способен был и согласен, в данных условиях, воспринять – стало для Мичи испытанием непростым. Уподобиться морскому моллюску, захлопнуть плотнее створки собственной раковины, позволяя внешней ее стороне огрубеть, потемнеть, обзавестись даже этими – как у всех – корявыми наростами, и что было сил беречь, хранить в неприкосновенной чистоте обращенный вовнутрь сияющий перламутр – так понимал он свою задачу, и – судя по всему – справлялся неплохо. Требовалось от него, помимо, собственно, перевозки, весьма немногое: необходимо было лишь отыскать верный тон, позволить собеседнику услышать ровно то самое, чего тот и ожидал бы от перевозчика. Чего же так страстно жаждали *простецы*, заводя бесконечные эти свои, вполне никчемные разговоры? Чего ради сбивались они в толпу, по какой причине не могли и представить себе жизни без общения ежедневного, непрестанного? Всякий искал одного – подтверждения собственной своей значимости. От человека к человеку способы различались, но суть оставалась прежней: даже и обращая к Мичи поток вопросов, будто пытаясь вызнать все подробности его жизни – которую он и себе-то едва ли мог объяснить – случайный спутник его преследовал неизменно все ту же цель. К чему еще было *простецу* узнавать другого, как не ради того только, чтобы сравниться с ним, сопоставиться – и лишний раз убедиться, что уж с кем-кем, но с ним-то самим все в самом, что ни на есть, наиполнейшем порядке; а если и не в порядке – поскольку жизнь большинства людей представлялась сплошной чередой немыслимых неурядиц – то, во всяком случае, вот именно таким, какой есть, посреди всех своих злоключений, запутавшимся, бестолковым, напуганным – он все же не хуже прочих, а потому на уважение имеет право ничуть не меньшее. Таков был волшебный ключик к сердцу всякого *простеца:* стоило выказать ему хоть намек на подобное уважение, как благословенная гармония непременно тут же и воцарялась. Опасность, однако, подстерегала с другой стороны: завоевав этим нехитрым способом искреннее расположение *простеца,* легко было оказаться в роли самого, что ни на есть, мирового ему приятеля – да так, что потом не отбиться было от предложений немедленно выпить за знакомство в ближайшей *окайне.* Так, похоже, и начинались у *простецов* многочисленные их незамысловатые дружбы – и отделаться от приглашения, не рискуя проявить злополучное неуважение, было задачей довольно сложной. Подобной общности с обычными своими спутниками Мичи, однако, никоим образом не желал – что послужило причиной даже и нескольких потасовок. Исход этих стычек не представлял большого значения даже для *простеца:* здесь важнее была не победа, но достойный ответ на усмотренное в отказе от продолжения знакомства оскорбление. Настоящей злобы за *оолани* не водилось – дело обыкновенно ограничивалось обменом парой тычков, а уж если кому-то пришлось «купнуться», то поруганная честь торжествовала столь очевидно, что и сам повод для драки немедленно забывался, так что наученную теперь уму-разуму жертву выуживали из воды, под всеобщий хохот и улюлюканье, и немедленно принимались отпаивать чем-нибудь согревающим. Подобное продолжение, неизбежное при любом исходе поединка, представлялось Мичи куда неприятнее собственно потасовки; иногда ему случалось оказаться за бортом самому, порой удавалось вышвырнуть из лодки в конец разошедшегося своего пассажира – и всякий раз дело тем не заканчивалось, но переносилось в ближайшую же *окайну,* что никоим образом не входило в первоначальные планы Мичи: выходил он на *воду* вовсе не для того. Ему доводилось читать некоторые духовные сочинения, авторы которых полагали всякое насилие неприемлемым, недостойным искреннего искателя. В общем и целом согласный с их точкой зрения, Мичи не ощущал, однако, своей вины, когда события принимали совсем уже крутой оборот – в некоторых обстоятельствах навалять так и нарывавшемуся на драку *простецу* представлялось ему делом вполне уместным. И все же то была мера крайняя; за что Мичи всякий раз негодовал на себя – обсыхая ли после драки за кружкой паршивой *оки,* выставляя ли таковую незадачливому своему потерпевшему – так лишь за то, что вообще допустил подобное развитие событий, не

доглядел, не учел, не нащупал подхода вовремя. Совершенно искренне он считал, что черед силы наступает, когда мудрость вовсе уже исчерпана. К той и другой относился он с уважением – но если *простецы* понимали одну лишь прямую силу, сам он предпочитал держаться иной стороны; всякий раз, когда случалось ему уподобиться *простецам,* ощущал он себя, безотносительно победы и поражения, неудачником, не сумевшим найти верного ключа к сложившемуся положению дел. Впрочем, подобные неприятности происходили теперь все реже; не то, чтобы поводов стало меньше – *оолани* есть *оолани* – но понемногу Мичи освоил искусство беседы ненавязчивой, обходящей всякую точку возможного напряжения. Теперь, если уж приходилось, *вонту* за *вонтой* мог он вести разговор ни о чем – отчего-то его собеседнику представлявшийся неизменно общением самым, что ни на есть, дружеским, по душам. Мичи будто бы превращался в своего рода зеркало, в котором спутнику его виделось ровно то, что хотелось видеть – и не считал это уже нечестным, вплотную ознакомившись с мнением человеческого большинства по поводу едва не всего, о чем имел неосторожность высказаться искренне. В самом деле, мог ли он позволить себе выразить подлинные свои чувства, поделиться мыслями настоящими? Мичи всякий раз усмехался, стоило лишь подумать, что, узнай его спутники, с такой легкостью принимавшие за дружелюбие отточенную его обходительность, как он к чему относится в самом деле, простым купанием тут бы не обошлось. Его бы не то, что не угостили позже горячей *окой* – вообще едва ли бы стали вытаскивать из воды; а удосужившись, не приведи случай, вполне уяснить, что он думает о них – простых честных людях, и священной их братской *общности*, непременно постарались бы даже и утопить, и не в соленой воде канала, а лучше бы – в нужнике, потому как дышать одним воздухом с подобным выродком, мнящим себя выше прочих, означало бы просто себя же не уважать. Действительно, уважением здесь и не пахло: одну за другой выслушивал Мичи истории злоключений и передряг, что происходили в жизни его словоохотливых пассажиров с такой удручающей частотой, будто бы против них ополчилась сама судьба – и всякий раз понимал отчетливо, что не бывает у человека худшего врага, нежели тот, которым становится он самому себе. Печальные обстоятельства его горемычных спутников легко объяснялись узостью кругозора, потаканием собственной слабости, неумением оценить положение трезвым взором, взглянув на дело будто со стороны, неспособностью приложить к своей цели хоть сколько-нибудь усилия упорного, планомерного; чаще всего подмечал Мичи их склонность жить, при видимом едва ли не раболепии перед *общностью,* вообще не задумываясь о других людях, не учитывая ни интересов их, ни стремлений, ни прав – не понимая даже, что в этом и состоит то самое уважение, вокруг которого и вращался обыкновенно у *простецов* весь их мирок, незамысловатый и перенаселенный. Можно было прибавить к этому и всегдашнюю их торопливость, непрестанную спешку и суету, в которой ни одному занятию невозможно было посвятить достаточно внимания и заботы, а потому куча незавершенных дел, неисполненных обещаний, не воплощенных замыслов день ото дня росла, покуда не погребала человека под собственным весом; заметную и весьма злополучную роль играла в судьбе *простеца* и невероятная многочисленность его знакомств и связей: как бы ни хотелось всякому верить, что уж «брата брат не подведет», взаимовыручка эта на деле оборачивалась постоянной вовлеченностью в бестолковые, совершенно ненужные чужие дела, в круговерти которых так никогда и не наступал черед привести в порядок свои собственные. Продолжать можно было до бесконечности – но едва ли не всякий раз человек не только со всей очевидностью оказывался виновником, источником и причиной бедственного своего положения, но еще и решительно отвергал совершенно необходимую в его положении помощь, прежде всего заключавшуюся в перемене взгляда на суть и природу своих повторявшихся неурядиц. Предложить помощь такого рода было Мичи вполне по силам: его понимания и здравомыслия не всегда хватало для мгновенного разрешения запутанных житейских вопросов, но подсказать человеку первые, наиболее важные и трудные шаги на таком пути был он вполне способен. Поначалу Мичи пытался еще вникать в бессвязный поток сетований и

жалоб, что всякий день изливался на него в изобилии; обдумывал тщательно, взвешивал мысленно способы и ходы, возможности и опасности – старался, словом, помочь человеку советом толковым, дельным. Очень быстро, однако, пришлось ему убедиться, что труд его всякий раз пропадает зря, да и к советчикам подобного склада относится публика более, чем прохладно. Стоило ему заикнуться лишь о важнейшем, а то и единственном ключе к хитросплетениям судеб – которым, по глубочайшему его убеждению, являлась непрестанная над собой работа, готовность поступать и жить в согласии со своими же убеждениями, как все годами копившееся в его собеседнике недовольство неизменно оказывалось обращено уже не к собственной жестокой, слепой и глухой судьбе, но лично и непосредственно к самому Мичи: да ты-то, мол, кто такой? Ишь, отыскался, грамотный! Еще только *такке* нам не советовали, как это жить положено! Что б понимал еще – бормочет чего-то себе под нос, а туда же, глядите-ка! Словом, добрый совет едва ли был здесь кому-то нужен. В лучшем случае, все оборачивалось выслушиванием подробнейшего перечисления бесконечных несправедливостей, которыми жизнь так и осыпала во всех отношениях достойного человека. Душевные силы и время, что тратил Мичи на эти попытки посильной помощи пожелавшему разобраться в лабиринте своей злополучной судьбы, эти достойные люди едва ли и замечали, вполне поглощенные собственными заботами, наглухо замкнутые в извечной обиде, досаде и раздражении.

Мичи был нужен таким разве что в качестве слушателя – к тому же еще и вынужденного терпеть ядовитые их излияния на протяжении всей дороги. Ну, а уж если весьма многочисленной этой породе случалось уловить на лице Мичи – день ото дня на *воде* все более каменевшем – намек на то, что рассказом своим удалось им таки пронять, тронуть сердце угрюмого перевозчика – это не могло не послужить поводом, в силу обстоятельств вовсе уж чрезвычайных, скостить цену на перевозку, с непременным обсуждением, если уж даром никак нельзя, возможности прокатиться за полцены, да желательно бы еще с расчетом назавтра: ты, брат, прости, такие вот, понимаешь, дела… но завтра-то деньги будут, ты это, ты не боись! Бохи-*шапта* за свои слова отвечает, это ты кого хошь спроси, Бохи-то всякий тут уважает! Цену словам *простецов* Мичи выяснил очень быстро, и катать их даром – от одной до другой ссудной лавки, где пытались они выручить лишний медячок за видавшую виды кастрюлю или зазубренный топор без рукояти, с некоторых пор перестал вовсе: уговорившись на некую цену, вскоре они и не замечали уже, как за разговорами, между посещением изрядного количества злачных мест, стоимость их поездки все возрастала, так что вскоре и вообще превышала сумму, что надеялись они выгадать, прозакладывав драгоценное свое достояние. Тут наступал обыкновенно черед оскорбленной гордости, вскипала справедливая ненависть к дармоедам, что ничего полезного в жизни своей не делают, а только знай себе, машут веслами, да последний медяк у простого человека отнять готовы – после чего начиналось утомительное выяснение той меры уважения, которую полагалось питать к ним бесстыжему перевозчику. Избегать подобного развития событий Мичи давно уже наловчился с легкостью, и если дело с подлинным уважением к *простецам* обстояло весьма неважно, то некоторого рода сострадание он все же порой испытывал. Зарекшись давать советы, не говоря уже – вовлекаться всерьез в топкие, зыбучие судьбы большинства своих пассажиров, он старался все же для каждого отыскать пару слов – простых, едва выходящих за рамки обычной вежливости, но все же способных хоть немного приободрить измотанного, вконец удрученного человека. Сопереживание его было искренним, хоть он и старался не обнаруживать этого всеми силами; такая малость, как несколько добрых слов – безопаснее всего, конечно же, на прощание – не стоила ему ничего, но оказывалась иногда, по собственным его наблюдениям, средством довольно действенным. Опять же, то чувство, что испытывал Мичи по отношению к случайным своим попутчикам, осталось бы ими, скорее всего, непонятым. Всякий из них казался себе единственным в своем роде, случаем исключительным, и на собственный именно счет только и мог принять участливое внимание странно-

ватого перевозчика. В действительности же отношение Мичи мало касалось лично любого из бесконечной их череды – не меньше *меры* на каждый рабочий день; сочувствие его сродни было, скорее, той причине, по которой перестал он вкушать запеченных живьем моллюсков – и даже в черепаховом супе себе отказывал. Много ли было ему дела до всякой морской твари, отдельно взятой? Участь любой из несметного множества их, извлекаемых из воды на потребу чревоугодию *оолани,* была уже предопределена с неизбежностью; не Мичи, так кто иной непременно заказал бы на ужин *меру* ракушек, а то и большого краба, томившегося в ожидании неминуемого исхода в лохани с морской водой. Вмешиваться в чужие судьбы, пусть и с самыми благородными побуждениями, не имело большого смысла – выкупи даже Мичи всю предназначенную к поеданию живность, отпусти на волю каждую из обреченных тварей, как уже назавтра все повторится снова. Смерть и страдания, по видимости, неотъемлемы были от самой природы мира – так что единственным, что оставалось Мичи, было умерить, по возможности, собственное участие в этой бойне, и не скатиться при том к бесчувствию, полному равнодушию. Желать блага всему живому, испытывать сострадание – пусть даже совсем бесплодное – само уже по себе ощущалось отношением верным, вполне достойным. Главное было, конечно, не показывать этого, когда дело касалось его спутников – столь мало, по существу, отличавшихся от выловленной на продажу рыбешки. В человеке чувствительном непредвзятое наблюдение жизни неминуемо порождало печаль определенного рода – вневременную, вселенскую – но такое, с точки зрения вечности, сопереживание едва ли имело какой-то смысл для запутавшегося в долгах и семейных дрязгах обычного человека. Вполне способный понять, каково приходится в жизни человеку без особенных дарований и нужных связей, Мичи испытывал сочувствие неподдельное – но на попытки сбить под таким предлогом и без того скромную цену своей услуги, а уж тем более – одолжить незнакомцу пару монет «до завтра», больше не поддавался. *Вода* обточила его с годами, как обыкновенно и обкатывает всякую острую, резкую грань – придала ему удобную и желанную обтекаемость, и за это Мичи был ей вполне признателен. Сила его не искала себе более подтверждений, возможности проявиться – он ощущал ее внутри неизменно, и уверен был, что может на нее, при случае, положиться; этого было ему достаточно. Гораздо большее значение придавал он теперь своего рода гибкости, умению идти к своим целям, как подобает хорошему мореходу, галсами – слегка меняя направление, сообразно течениям и ветрам. Мысленно уподоблял он себя канату, польза которого определялась не одной лишь крепостью его, прочностью, но именно самой способностью сворачиваться, разматываться, охватывать, завязываться в узлы без ущерба своей природе – но, по истечении четырех лет своих на воде, а уж зим в особенности, знал теперь о себе, что сплетен на совесть, и если потребуют того обстоятельства, способен держать напряжение довольно-таки серьезное.

Ойа долгих воспоминаний вела сквозь вереницу дней его на *воде* – вполне одинаковых, и все-таки непохожих один на другой. Череда лиц мелькала перед мысленным его взором – разных, но так мало, по существу, отличавшихся друг от друга. Они сливались будто в какой-то сплошной поток, где изредка лишь мелькали, вспыхивали ярким пятном те, что удалось ему по-настоящему разглядеть; выбивались из гомона толпы отдельные голоса, что звучали словно бы только лишь для него – их было до обидного мало, и все же… Как многим обязан он был *воде,* сколь многое понял, открыл в себе, пережил, осмыслил! Как щедра оказалась она к нему, как терпелива, как бережно учила его самому главному, что только есть на свете – жить, оставаться самим собой, вопреки всему, сохранять и взращивать то, что важно – а всей этой внешней, поверхностной суете уделять внимания не больше, но и не меньше, чем та заслуживала. А Сотти? Как еще, в конце-то концов, встретил бы он ее, задушевную свою подругу и средоточие изысканных наслаждений, если бы не *вода*? Где? В книжной лавке? Ну, а сегодняшний вечер? *Ойа сплетения судеб?* Аши? Это вот самое, прямо сейчас переполнявшее его понимание? Да, все это понимание – *сата,* проникновенная, подлинная, преображающая

жизнь изнутри, так глубоко, кажется – до самого дна? День такой, что и года жизни не жалко бы за него – и все ведь она, *вода*.

Мичи прислушивался к себе. Мысленно перебирал, как четки, дни свои на *воде*, пытался нащупать словно бы нечто общее, что связывало их, проходило, как нить, сквозь каждый; поймал, наконец, это чувство – живое, трепещущее, как рыба в руках; ухватил его крепко, держал, и больше не отпускал уже; знал, что и не отпустит, не потеряет больше – благословенное действие *ойи* когда-нибудь, да закончится, но *сата* непременно останется в нем: послевкусием, отголоском – так что сила, которую так ясно чувствовал он в себе сейчас, впервые с такой ясностью, так непосредственно пережитая, пребудет с ним впредь, и с этих пор он будет знать ее в себе, затаившуюся, но всегда готовую проявиться – и как раз проявиться, приложить себя к бесчисленным обстоятельствам жизни он и поможет ей: всякий раз находить ей выход и применение, месту и времени сообразные. Такая славная, удивительная игра – и такая долгая жизнь еще впереди! А бесконечность эта, что у него внутри – как же и раньше не понимал-то? – она… она ведь и вправду неисчерпаема. И значит – хоть бы и оставался он по-прежнему самым обычным *такке* – он, Мичи, может быть кем угодно; чем придется, как сложится, что выберет для себя, чего пожелает. А чего же и пожелать ему, чем и быть, как не тем, чем, понятно теперь, только всегда и был – кораблем в океане? Что же еще и делать ему, как не бороться, не стремиться, что есть только силы, к берегу? Достичь его, прикоснуться – но даже и якоря не бросать: только бы в путь уже, поскорее, снова. Никогда и не было по-другому. И едва ли будет. Да ведь иначе-то и не надо: судьба же, все-таки, как-никак. А хороша, все же, *ойа*-то получилась… *Такке*. Старик ведь явно спрашивал неспроста – действительно, получается, что-то такое в этом… как объяснить вот только? Как, в самом деле, найти слова этому ощущению – что ремесло это и отвечает его призванию, непонятному еще, далекому, чему-то в нем соответствует, важному, самому главному, может быть – раз уж столько всего открылось за эти годы – а в то же время будто и никакого к нему касательства не имеет вся эта, что б ее, перевозка? Да и нужно ли объяснять? Может, наоборот – это Аши как раз ему объясняет вещи, которые в словах не особенно и поместятся? Вот ведь, сидит, поглядывает с хитрецой своей этой вечной… Вечной? Да всему и знакомству-то только вечер, а кажется… Мичи подумалось неожиданно, что он и малейшего представления не имеет, как долго пробыл в этих воспоминаниях, размышлениях; еще он, конечно, не помнил в точности, что именно успел рассказать старику, а что пережил у себя внутри: та еще получалась у них беседа. Он словно вынырнул на поверхность с таких глубин, где оказаться случалось ему нечасто – и не имел понятия, долго ли там провел. Аши, однако, ни малейшего беспокойства не обнаруживал – будто как шло у них, так и должно было все идти: нашел, мол, слова – давай, излагай, как можешь; а нет – так сиди себе, прихлебывай по глоточку, трубочкой, вон, попыхивай. Кстати, а трубка-то… Мичи потянулся к своей, хотел было и уголька попросить у Аши – но в прикурке, на удивление, вовсе нужды и не было: Мичи потянул жадно, выпустил облачко дыма – но как же так? Должна бы давно погаснуть! Получается, столько мыслей – а уложились едва ли в *панту*? Чудеса какие-то… Аши, словно понимая причину его замешательства, подмигнул заговорщицки: и не то, мол, еще бывает! Это его умение вот так ни во что не вмешиваться, предоставлять всему идти своим чередом, казалось Мичи качеством необычайным, завидным и восхитительным. Попыхтев для порядка трубкой, он вскоре уже ощутил себя вполне способным к продолжению разговора: должно быть, первая волна *ойи дальних воспоминаний* схлынула наконец, возвращая течению мыслей скорость вполне привычную. Будто подметив это, Аши потянулся к *джуми* и снова наполнил чашки под самый край. *Ойа* была прекрасна: не обжигала, но разливалась мягким теплом внутри, отдавала горчинкой едва заметно, легко расплеталась на вкусы отдельные, отчетливо уловимые – и тут же вновь обретала всю мощь, глубину, полноту единого целого. Неужели же это он, Мичи, и правда сварил такое? Куда, интересно, теперь повернет течение?

Что откроет ему новая эта волна, знакомо уже поднимавшаяся изнутри? Что же и вспоминать еще, если – вроде бы – самое важное и так уже прямо только что заново пережито? И вдруг – воспоминание острое, невозможное, казавшееся утраченным, захлестнуло Мичи, окатило волной, рассыпалось тут же брызгами, отступило кипящей пеной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.